

The image shows a collection of antique porcelain and glassware arranged on wooden shelves. The top shelf features a vase with red and yellow flowers, a large floral teapot, a smaller teapot, a glass, and a large decorated pitcher. The middle shelf is filled with various glass bottles, some with stoppers, and a central white vase with a floral design and a crown-like top. The bottom shelf contains more glassware, including a large floral teapot, a glass decanter, and a small pitcher. The background is dark wood paneling.

**Поль Лакруа
Фердинанд Сере**

**Средневековье и Ренессанс.
Том 4**

Поль Лакруа

Средневековье и Ренессанс. Том 4

«Автор»

2026

Лакруа П.

Средневековье и Ренессанс. Том 4 / П. Лакруа — «Автор», 2026

Этот том демонстрирует характерный для эпохи романтизма и позитивизма интерес к истории повседневности, материальной культуре и «духу эпохи». Он уникально сочетает анализ оккультных учений с описанием технологий изготовления фарфора, рассматривает геральдику как науку и поэзию как часть национального самосознания. Том служит бесценным источником для понимания того, как в середине XIX века воспринимали и систематизировали культурное наследие Средневековья и Ренессанса.

© Лакруа П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. – НАУКИ И ИСКУССТВА. – КРАСИВЫЕ ПИСЬМА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ БОТАНИКА, ГЕОЛОГИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ОРНИТОЛОГИЯ, ЗООЛОГИЯ И Т. Д.	5
ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ	30
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Средневековье и Ренессанс. Том 4

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. – НАУКИ И ИСКУССТВА. – КРАСИВЫЕ ПИСЬМА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ БОТАНИКА, ГЕОЛОГИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ОРНИТОЛОГИЯ, ЗООЛОГИЯ И Т. Д.

Благодаря завоеваниям Александра, гению Аристотеля, естественные науки пробудились от долгой спячки и в течение более века процветали в Египте под покровительством Птолемеев; но вкус к софизмам и парадоксам, утонченности диалектики вскоре остановили этот порыв: вместо хорошо наблюдаемых фактов стали использовать чудесное; общие мнения о животных, минералах и растениях собирали с большим тщанием, чем наблюдали саму природу; и книга Плиния, столь примечательная свидетельством своей удивительной эрудиции, представила картину крайней путаницы, царившей тогда в умах. Кроме того, бурное волнение великой империи, как Римская, почти не оставляло места для спокойствия, необходимого для развития естественных наук. Ими вообще мало занимались. Они не входили в систему образования высших классов. Оттесненные вместе со спекулятивной философией в туманные построения софистов или смешанные с трансцендентными теориями пифагорейцев, они представляли собой почти недоступную область, из которой даже врачи исследовали лишь часть, относящуюся к средствам облегчения страданий человечества. Когда наступил упадок Рима, естественные науки, почти неподвижные в течение четырех столетий, находились на той точке, на которой их оставил компилятор Элиан, который в своей «Истории животных» собрал вперемешку сведения, взятые у различных греческих или латинских авторов, ныне утерянных. Поэты эпохи упадка, Немезиан, Тит Кальпурний, Авсоний, Клавдиан, панегиристы, отцы церкви, представляют в совокупности своих произведений картину не менее верную, чем интересную, о представлениях античности о явлениях и творениях природы. Эти идеи, более или менее искаженные, вдохновили Георгия Писида и Венанция Фортуната, воспевающих в небольших описательных поэмах прелести загородной жизни, великолепные сады епископа Трира, поля графа Вёвра и течение нескольких рек, чьи чудесные творения они отмечают. Печальная эпоха, когда для подтверждения сохранения определенных научных традиций приходится обращаться к мимолетным поэтическим произведениям, дающим лишь бледное их отражение; когда место, занимаемое в литературе великолепными картинами мира, столь мало, что автор едва достаивается на нем остановиться, будучи во власти физических инстинктов и материальных наслаждений! Любой предмет, служащий лишь удовольствию ума, оставался тогда не оцененным; рассматривали лишь практическую полезность вещей, пищевой и фармацевтический режим, стол и аптеку, средства личного сохранения и средства защиты. Так и писатели этих варварских времен, Орибасий, Аммиан Марцеллин, Макробий, Сидоний Аполлинарий, Павел Орозий, святой Кирилл, Павел Эгинский, Аэций и их преемники с четвертого по восьмой век, говорят о растениях, животных и минералах, не заботясь об их организации, форме, структуре, физиономии; они рассматривают их лишь с одной точки зрения – возможности их применения либо в хозяйстве, либо в ремеслах; для них они принимают лишь одну основу классификации – «Шестоднев» или теорию шести дней Творения.

Карл Великий, этот могущественный организатор, желая одновременно поддержать производство в крупных владениях и способствовать садоводству, кажется, озабочен лишь одной вещью – сохранением хороших видов; он, кажется, даже не подозревает о цели изучения естественной истории. Вместо того чтобы поощрять декоративные посадки, заботиться о том,

чтобы экзотические растения, многие из которых попали к нему из Константинополя и Кордовы, плодоносили в его королевских виллах, он, кажется, совсем об этом не думает, в то время как настаивает на размножении семян и плодов, происходящих из Германии, и на выращивании вещей, необходимых для жизни. Предусмотрительный ум монарха понял, что еще долгое время народы, даже элита, стремясь наслаждаться, будут придавать реальную ценность лишь продуктам очевидной полезности. Карлу Великому приписывают создание питомников в Мецской области; с ним связывают происхождение определенных видов, и лучше видеть в этом звено в цепи практических идей пятого века, чем искать его в туманности поэмы Валафрида Страбона, монаха из Санкт-Галлена, где точно и даже элегантно описаны некоторые растения, наблюдаемые в маленьком садике (*horticulum*), который посещал поэт. Другой писатель, считающийся французом, Магер Флорид, примерно в то же время составил трактат о свойствах трав, единственная заслуга которого – засвидетельствовать местное выращивание различных пасленовых, таких как паслен. Эта культивация и сбор, которые с большой тщательностью проводились внутри монастырей, стали, без сомнения, прообразом позднее организованных ботанических или лекарственных садов: таким образом, Церковь служила охраной растительных продуктов, признанных эффективными для определенных лечебных процедур, одновременно собирая в сокровищницах базилик самые замечательные ископаемые останки; одновременно позволяя резцу художника изображать на собственных стенах фигуративные представления народных верований. В Меце, Кельне, Трире народу показывали якобы останки расы гигантов, существовавших до потопа; это были действительно гигантские окаменелости неизвестных животных, похожие на ископаемых рыб и мастодонтов, которых прославленный епископ Гиппона указывал как принадлежащих древним человеческим расам, и происхождение которых, утраченное шестьдесят веков назад, восстановил Кювье. Они не могли быть размещены лучше, чем в святилище для молитв, ибо служили для проявления величия божественных творений и странных переворотов, происходивших в мире. Что касается архитектурных скульптур, введенных с византийским искусством, то в них следует видеть не только прихотливую руку независимых художников, пользующихся своей свободной волей, но также и свидетельство причудливых, фантастических идей, которые складывались о мириадах невидимых существ, рассеянных в воздухе и водах, или о добрых и злых духах, обитающих на небесах и в аду. В этом последнем отношении византийская скульптура закрепляет подлинную христианскую мифологию, которая по отношению к последующей истории природы, как ее открыла наша эпоха, является тем же, чем была греческая мифология по отношению к ее политической истории. Мотивы, заимствованные главным образом из ботаники и зоологии, служат аксессуарами или обрамлением для этой христианской мифологии. Однако, поскольку аксессуары не изобретаются, а выбираются среди творений, наиболее знакомых художникам, которые их исполняли, возможно, после внимательного и сравнительного изучения главных памятников одного и того же времени, удастся оценить происхождение и традиционные черты основных художественных школ Европы. У одних преобладал бы лотос; у других – род кактусов; здесь – дубовый лист; в другом месте – лист латука, в зависимости от того, вдохновлялся ли художник в южных или северных регионах. Но мы забегаем вперед.

Вернемся к великому веку Карла Великого, к столь блистательному правлению Альмансура, который основывает в Багдаде большую школу, куда находят приют науки, изгнанные из Афин и Александрии, куда множество знаменитых несториан приносят переведенные на сирийский наиболее ценимые труды Греции и Рима, особенно Аристотеля и Галена; не забудем другого халифа, Харуна ар-Рашида, занимающего столь прекрасное место в рассказах романистов. Первый известный в Западной Европе слон был послан им Карлу Великому, и останки этого четвероногого беспокоили ученых больше, чем прах Гомера; ибо каждый раз, когда происходила находка ископаемых костей, в них хотели видеть либо скелет гиганта, либо скелет слона Харуна ар-Рашида. Мамун, сын Харуна, довел любовь к наукам до того, что вел

войну с императором Константинополя, чтобы заставить его прислать ученых мужей и рукописи. Эти рукописи, почти все сирийские, тут же переводились на арабский, и с них делали множество копий; но непреодолимые предрассудки препятствовали вскрытию гробов и весьма затрудняли использование рисунка, считавшегося народом сверхъестественным и магическим произведением.

С восьмого по десятый век арабы успешно развивали те отрасли естественной истории, которые относятся к приготовлению лекарств. Они сделали в ботанике, в фармации драгоценные открытия. До них знали лишь сильные слабительные: такие как чемерица; они добавили к ним кассию, сенну, тамаринд. В тексте курса ар-Рази, составленного, без сомнения, одним из его учеников, речь идет о полезных растениях Индии, Персии и Сирии, неизвестных древним. Младший Серапион, по прозвищу Агрегатор, написал книгу *De simplicibus*, где, следуя Диоскороду, он рассматривает греческие растения и большинство растений, наблюдавшихся в Индии. Авиценна изучал ботанику Бактрии и Согдианы: это он первым дал описание асафетиды. Месуэ оставил труд *De re medica*, несколько раз переведенный на латынь, который до эпохи Возрождения служил учебником во всех школах Европы. Для большей надежности арабское правительство санкционировало признанные хорошими формулы. Сабар-ибн-Сахиль, директор Школы в Джундишапуре, опубликовал даже формуляр, озаглавленный *Карабадин*: первая книга такого рода, которую изобрели. Но вне фармации – лишь беспорядок и путаница в знаниях, собранных арабами. Предоставленные своему умозрительному духу, они движутся без порядка, без метода, без критического духа, даже без надежного руководства, ибо у них нет ни «Истории животных» Аристотеля, ни трудов его ученика Теофраста: они перевели только Плиния и Диоскорида, которые, претерпев два превращения, сначала в сирийский, затем в арабский, часто представляют лишь неясный смысл. Так что даже усилия, которые предпринимают старший Серапион, ар-Рази, Авиценна, Месуэ, Аверроэс, Абенбитор, чтобы отделить истинное от ложного, лишь добавляют им неуверенности и ввергают номенклатуру видов, обозначение особей в плачевную путаницу. Константин Африканский, который первым ввел в Европу некоторые арабские книги, относящиеся к медицинским наукам, не мог претендовать на распутывание этого хаоса. В своем «Опыте фармации» он довольствуется разделением простых лекарств на четыре класса, согласно их степени относительной активности. Примерно в то же время появляются два путешественника выдающихся достоинств: Ибн-Тайтур из Малаги, самый ученый из арабских ботаников, посетивший почти весь Восток и занимавший в Каире должность министра халифа; Абдалла ат-Таиф, автор очень точного описания растений и животных Египта: он описывает, среди прочего, гиппопотама и проявляет замечательную проникательность, отмечая при осмотре скелета мумии несколько ошибок, допущенных Галеном в его остеологии человека. Почти все научные знания, рассеянные по некоторым точкам мира, все еще исходили от испанских арабов, и особенно от Кордовского халифата. Туда отправился за своими глубокими познаниями Герберт, архиепископ Реймский, столь известный под именем Сильвестра II. В то же время англичанин, архидиакон Генрих Хантингдонский, писал трактат о растениях и животных, а Оттон Кремонский сочинял поэму в сто пятнадцать леонинских стихов о выборе обычных лекарств: бесформенные, поверхностные опыты, которые приводят нас к Иоанну Миланскому, автору гигиенического кодекса Салернской школы, чье творение знаменует эпоху скорее в истории медицинских наук в собственном смысле, чем в истории естественных наук.

Приближалось разрушение научных учреждений Испании: империя халифов должна была рухнуть; варварство вновь угрожало цивилизации: к счастью, кочевой народ, народ еврейский, оказался тут весьма кстати, чтобы собрать литературные обломки, уцелевшие от крушения, и питать ими различные очаги, которые Провидение уготовило человеческому роду. Став советниками или врачами почти всех государей Европы, даже пап, евреи некоторое время сохраняли монополию на естественные науки. Школа в Монпелье обязана им своим проис-

хождением; и когда постановление императора Фридриха Барбароссы подчинило студентов суду церковных трибуналов, если только они не предпочтут судиться у своих профессоров, евреи чудесным образом использовали эту необычную терпимость, учредили кафедры в Болонье, Милане, Неаполе и заменили новый свод обучения *Этимологикону* Исидора Севильского. Этот своего рода толковый словарь составлял с седьмого века существенную основу научного образования. Анатомия, физиология, зоология, география, минералогия, сельское хозяйство составляли текст *Этимологикона*; но говорилось о них весьма поверхностно и неразумно. Лишь минералогическая часть, где изложено искусство стеклоделия, содержит любопытные документы.

В конце двенадцатого века аббатиса Бингенская на Рейне, Хильдегарда, писала свой *Сад здоровья*, род фармакопеи, компендиум часто причудливых рецептов, отмеченный бесконечными предрассудками и ошибками, весьма любопытный, весьма интересный, однако, тем, что может способствовать вместе с другими памятниками того же рода, с самим *Этимологикон*ом, суммированию совокупности народных представлений и принципов, принятых образованным классом, о природе травянистых или древесных растений, о минералах, о ядах, о полезных или вредных животных и о порождающей и целительной силе природы. Хильдегарда занималась выращиванием и сбором растений, признанных эффективными для лечения болезней; она составляла свои лекарства и применяла их. Так же должно было быть у аббатис Ремирмона, Сент-Одилии, всех тех великих монастырей, основанных под влиянием ирландских бенедиктинцев седьмого века и ставших в некоторых отношениях наследницами пифагорейских доктрин, применявшихся к явлениям, к последовательным эволюциям вселенной. В базиликах, где устав Хродегарда навязывал монастырские привычки общей жизни, в богатых аббатствах, где ручной труд шел рука об руку с некоторыми умственными трудами, не пренебрегали ни садоводством, применявшимся к лекарственным растениям, ни коллекциями ископаемых, минералов или раковин, считавшихся необходимыми для лечения определенных функциональных расстройств, для занятия определенными ремеслами, такими как цветное стеклоделие, крашение и т.д. С крестовых походов эти коллекции, эти посадки приобрели даже более интересный характер; ибо, стремясь размножить некоторые кустарники, некоторые растения Иудеи, ежегодно заставляя расцветать на алтаре иерихонскую розу, благочестивое воображение монаха населяло его уединение самыми священными воспоминаниями, самыми трогательными утешениями и самыми сладкими надеждами. Время серьезно относиться к естественной истории, фармации, садоводству и т.д. еще не пришло. Поэтому не удивительно, что серьезный человек, архиятр Филиппа-Августа, Габриэль Нодэ, имел странную мысль посвятить поэму в шесть тысяч стихов ознакомлению с составом основных лекарств. Это фармация, приспособленная к духу века; она не более примечательна как наука, чем как поэзия. Различные рукописи, гораздо более серьезные, гораздо более достойные упоминания, занимали тогда место в главных библиотеках Европы. В Меце, например, собор приобрел книгу Ж. Брея о фруктах, овощах, мясе, рыбе и птицах, которые надлежит употреблять для сохранения здоровья; это был своего рода гигиенический справочник для каноников. Брей не встречается ни в одном биографическом словаре; мы считаем его англичанином; он писал на латыни. Британский музей в Лондоне обладает несколькими произведениями того же времени: *Трактат об употреблении и свойствах растений*; *Трактат о природе деревьев и камней*; том *О деревьях, ароматических растениях и травах*; все на латинском языке. Национальная библиотека в Париже также обладает кодексами, антидотариями (рукописи, № 7009, 7010, 7031, Старый фонд); но они представляют меньший интерес, чем те, что фигурируют в английских собраниях. Кроме того, ни в тех, ни в других не найти приемлемых теорий, хорошо сделанных описаний, разумно выведенных следствий, тем более последовательного свода доктрин. Это смесь гигиенических предписаний, фармации, фармацевтических указаний, где тут и там мелькают, почти украдкой, несовершенные, сокращенные описания животных, растений и ископаемых или минеральных

камней. К тому же веку принадлежит Алан Лилльский, поэт-физик, преподававший с большим успехом. Ему принадлежит нравоучительная поэма под названием *Антиклаудиан*, своего рода общий конспект наук, в котором рассмотрены некоторые вопросы естественной истории. Он также написал диссертацию *De naturis quorundam animalium*, оставшуюся в рукописи. Он умер в аббатстве Сито в 1202 году.

Эпоха очищения, социальной трансформации, вынужденных и непрерывных перемещений, в течение которой народы, как и индивиды, подчинялись электрическому току, увлекавшему их к новому состоянию вещей, тринадцатый век оставил в анналах естественных наук видимый след своего прохождения. Чтобы вырвать из разврата мира часть духовенства и найти в новых монашеских учреждениях благочестивое самоотречение, которого нельзя было ожидать от старых монахов, пресыщенных золотом и чувственностью, Церковь только что учредила нищенствующие ордена, францисканцев или кордельеров, доминиканцев или братьев-проповедников, предоставив им интересы цивилизации, хранение научных и литературных традиций. С другой стороны, считая врагов своих врагов союзниками, христианский мир во главе с Римом пошел искать дружбы Чингисхана, воинственного татарина, завоевателя Монголии, части Китая, Персии и России, в то время как крестовые походы продолжали свою вооруженную пропаганду. На этот обширный театр далеких переселений нищенствующие ордена почти сразу предоставили разумных актеров, которым естественные науки обязаны определенными успехами: кордельер Иоанн де Плано Карпини, отправленный к Батыю папой Иннокентием IV (1246), первым описал народы, расположенные за Каспийским морем; другой кордельер, Гильом Рубрук, делегированный святым Людовиком к Мунке-хану (1253), оставил точное и подробное описание своего путешествия; Пьер Асселен, Венсан де Рубрук, но главным образом венецианец Марко Поло посетили Персию, Африку, Татарию, Северный Китай. Их рассказы служили темой для причудливых сказок, нелепых верований. Поло называли величайшим лжецом, и однако он был лишь легковерным. Это, говорит Галлер, бесплодные путешествия, где редко встречаются понятия естественной истории, где ботанике почти нет места, и где автор считает достаточным номинально указать новые вещи, которые он встречает; несмотря на крайнюю редкость полезных наблюдений, зафиксированных в таких книгах, в них есть мощная притягательность, притягательность неизвестного, и вскоре должны были последовать другие, менее поверхностные книги. Гилберт Английский, филолог, достаточно эрудированный, чтобы обращаться к самому тексту древних, также посещал далекие страны, занимался изучением растений, особенно их медицинским применением, и составил *Кодекс*, упомянутый в *Британской библиотеке* Таннера. То же самое было с Генрихом Арвиэлем, неутомимым английским путешественником, о котором биографии не говорят ни слова и который, удалившись в город в Польше под покровительством верховного первосвященника, составлял около 1280 года важный труд по ботанике.

Быть вынужденным упоминать в качестве натуралистов таких людей, как Джентиле да Фолиньо, Гульельмо да Саличето, Иоанн Платеарий из Сан-Паоло и еврей Авраам, которые занимались творениями земного шара только в их отношении к медицине или хирургии, – значит признавать нашу бедность. Они писали в первой половине тринадцатого века; их рукописи, относящиеся к фармации, почти все существуют в Национальной библиотеке в Париже (№ 6934, 6964, 6960, 6823, 6958, 6896, 6871, 6898, 6899, 6988, Старый фонд). Эти произведения, любопытные лишь с точки зрения заимствований или интерпретаций, которые в них встречаются, весьма далеки от того, чтобы представлять существенный интерес, который представляют книги Иоанна из Сент-Амана, Симона из Кордо и Петра из Кресценци, ученых наблюдателей, первых двух врачей, третьего светского человека. Симон из Кордо, или Симон из Генуи, неправильно называемый Галлером Симеоном де Коро и другими Симеоном Януенсисом, составил *Ботанический словарь*, для которого, не довольствуясь заимствованиями у греческих и арабских писателей, он консультировался с учеными всего мира – *testatur se informationes ex*

toto mundo per viros doctos cepisse – и позаботился сам собирать растения в Архипелаге и Сицилии. Его труд, несколько раз напечатанный, существует в рукописи в Национальной библиотеке, с приложением Манфреда с Монте-Империале (№ 6823 и 6958, Старый фонд). К сожалению, Симону из Кордо не хватало знания восточных языков, и ему приходилось прибегать к переводам, все неправильным, плачевному источнику ошибок и неопределенностей. Иоанн из Сент-Амана, каноник Турне, которого не следует смешивать с одноименным мартирологом, вышел из обычного класса практиков той эпохи и составил превосходную общую терапию, где встречаются, без сомнения, слишком тонкие размышления, но где гений наблюдения обнаруживается на каждом шагу. Сент-Аман принадлежит к числу, бесконечно малому, людей, которые расспрашивали, изучали природу. То из его произведений, которое наиболее связано с предметом, которым мы занимаемся, озаглавлено: *Areola, seu tractatus de virtutibus et operationibus medicinarum simplicium et compositarum*. Оно существует в трех экземплярах в Национальной библиотеке (№ 7063, 6976, 6888, Старый фонд) и в нескольких крупных библиотеках Англии; что доказывает уважение, которое внушал его автор. Петр из Кресценци, о котором нам остается сказать, сенатор города Болоньи, значительная персона по рождению и состоянию, много занимался сельским хозяйством и садоводством, не пренебрегая различными отраслями естественных наук, которые к ним относятся. Родившийся в 1230 году, он был, несомненно, самым знаменитым агрономом века: он сам возделывал; он читал на их родном языке Катона, Варрона, Колумеллу, Палладия; он заимствовал у арабов, как и у различных авторов Средневековья, то полезное, что они предлагали; он консультировался с опытом своих современников, сравнивал различные культуры Италии и составил труд, полный практических фактов, разумных советов, обширных и положительных знаний; который он озаглавил: *Opus ruralium commodorum*. Эта своего рода сельская энциклопедия, разделенная на двенадцать книг, также рассматривает растения, полезные для медицины; таким образом, она заняла место среди книг по естественной истории. Ее успех был велик и быстр. С нее делали многочисленные копии, которые продавались очень дорого и которые еще заслуживали бы поиска, если бы книгопечатание не пришло умножить труд каллиграфов.

После человека таких достоинств, как Петр из Кресценци, нам, возможно, следовало бы опустить занавес на тринадцатом веке, но эта картина останется неполной, если мы пройдем молчанием три действительно типичные персонификации, которые суммируют в себе эпоху, век, мир; которые являются тем, что век их создал, и чья физиономия, более странная, оригинальная, волнующая, чем величественная, несет энергичный отпечаток, печать своего времени: мы хотим говорить о Винсенте из Бове, Альберте Большетедтском, прозванном Великим, и Арнольде из Виллановы, более ценимых до сих пор как астрологов, алхимиков и теологов, чем как натуралистов. Все трое принадлежали к недавно учрежденным нищенствующим конгрегациям. Винсент из Бове дал описание путешествия Карпини; он знал открытия Марко Поло; он был сведущ во всем, что античность знала о естественной истории, но он также исповедовал суеверные верования Средневековья. Для него мандрагора имела форму человеческого тела; крылатый дракон иногда уносил быка и пожирал его в воздухе, не выпуская добычу; *агнус скиффикус*, агнец Татари, животное-растение, связанное с почвой стеблем и корнями, имеющее вид овцы и покрытое желтоватой шерстью, встречался вдоль Волги. Он рассказывал историю змея-василиска, змей-амфисбен; он изображал прототипическую нежность пеликана; он утверждал, что в Шотландии плоды некоторых деревьев, падая в воду, производят вид черной утки, называемой морской уткой; он говорил о неопределенном полете феникса и т.д. и, без сомнения, воображал, что преподавал очень серьезный курс естественной истории. Что касается Большетедта, он, конечно, не заслуживал, чтобы ему делали оскорбление, предполагая его автором жалких рапсодий, озаглавленных: *Секреты великого Альберта*, *Секреты малого Альберта*, или даже множества апокрифических произведений, недостойных его талантов, серьезности его ума и его епископского характера. *Opus de animalibus*, сборник интересных наблю-

дений, своего рода комментарий к Аристотелю, обнаруживает превосходного человека. Чтобы составить его, Больштедт, по-видимому, имел в руках различные арабские или латинские переводы греческих трудов, ныне утерянных. К фактам, взятым у древних, он добавлял описание некоторых пушных зверей, таких как соболь, куница, и различных рыб Севера, которых он первым изучил. В другом труде по минералогии, *Mineralium libri quinque*, Больштедт признает реальность аэролитов и рассматривает литологию порой разумным образом, способным посрамить гордых мыслителей восемнадцатого века. Ученый натуралист должен был бы пролистать его полные сочинения и поразмышлять над некоторыми книгами, девственным источником как для физики и химии, так и для животной или растительной физиологии Средневековья. Бруккер, Буле, Теннеман, но особенно Тидеманн, проложили этот столь отгалкивающий и трудный путь. Жаль, что вместо того чтобы прояснять философские доктрины знаменитого епископа Регенсбургского, они не предпочли сделать известной совокупность его идей по естественной истории мира. Когда, вернувшись в свою келью, отягощенный возрастом, утомленный мирской славой, Альберт мирно ожидал смерти, блестящий ученик школ Италии и Монпелье, воспитанный на чтении древних и арабов, Арнольд из Виллановы привлекал внимание публики, тогда столь легко возбудимое. В Париже, где он одновременно преподавал медицину, ботанику, астрологию, видели удивительное стечение слушателей. Это был первый раз, когда к урокам терапии, иногда разумной, были присоединены уроки естественной истории; первый раз, возможно, за целый век, когда учитель мог похвастаться глубокой эрудицией, не заимствованной, обсуждать греческие, арабские, еврейские, латинские тексты, подкреплять или ослаблять их авторитетом собственного опыта и решать, со знанием дела, вопросы, оставшиеся неразрешимыми до него. С этим превосходством ума, этой привычкой к анализу и этой логической импульсивностью, которым Арнольд охотно предавался, ему становилось почти невозможно не выйти за пределы научной области, где благоразумие должно было бы его удержать, и не употребить против морального беспорядка общества оружие, с помощью которого он поражал некоторые нелепые предрассудки или некоторые формы, препятствовавшие прогрессу человеческих знаний. Если бы, лучше вдохновленный, Арнольд, как Альберт Великий, ограничился объяснением явлений природы, исповедовал бы он, как и он, перипатетизм, несмотря на буллу папы, никогда бы ему не пришлось плохо; но он осмелился провозгласить превосходство морали над формулами внешнего культа, презирать монашество, атаковать нищенствующие ордена, потому что они были без милосердия; так что мстительная цензура мелких монахов, нетерпимость французских инквизиторов преследовали его. Обвиненный в ереси, его заставили закрыть свои курсы, в то время как Альберт Великий всегда преподавал почти без препятствий. Что касается чудесных вещей, объявленных или исполненных последним, допускалось вмешательство девицы Марии; почти божественная солидарность, отводящая подозрение в соучастии с дьяволами; напротив, Арнольда обвинили в колдовстве, обвинении, каремом смертью, последствий которого он избежал, покинув Францию под покровительством Карла II, короля Неаполя, при котором некоторое время состоял врачом. По замечательному совпадению, человек гения, которому экспериментальная физика обязана своей эволюцией, как естественная история обязана своей двум вышеупомянутым смелым мыслителям, Роджер Бэкон тогда искупал в оковах непростительное преступление дурного мнения о монахах. Два самых разумных народа мира, Франция и Англия, сходились в одной системе преследований, и именно Неаполь, Палермо, Карл II, Фридрих II или папы из Авиньона давали приют изгнанным великим людям. Более чем любой другой государь своей эпохи, Фридрих II способствовал развитию естественных наук. По его приказу Аристотель был переведен на латынь и преподавался в его королевстве. Он привез из Африки и Азии несколько неизвестных животных, среди прочего жирафа, и составил по соколиной охоте трактат, обнаруживающий познания в зоологии. Ему принадлежит первое точное описание пеликана и охотничьих птиц. Хотя святой Людовик и Карл II не оказывали на прогресс естественных наук такого прямого влияния, как

Фридрих, они способствовали их развитию своими военными экспедициями, дипломатическими отношениями и покровительством, оказанным ученым, жившим при дворе. Однако там не существовало подлинной независимости; она скорее находилась среди сообществ художников, бороздивших Европу, подлинных промышленных ассоциаций, где священники и миряне, сеньоры и плебеи свободно практиковали свои идеи, свое состояние, свои верования и высекали на фронтонах храмов, вокруг алтарных преград тысячи вещей, которые они не осмелились бы сказать.

Рождалась стрельчатая арка. Со стрельчатой аркой осуществлялась обширная система орнаментации, взятая из растительного мира: столб, колонна и их аркады становились представлением дерева с его ветвями; церковь в целом представляла либо каменный лес, либо обширную беседку, где соединялись разнообразные богатства трех царств. Таким образом, архитектура заимствовала у естественных наук подлинную программу новых мотивов, если не всех одинаково удачных, то по крайней мере почти всех истинных, и можно было рассматривать здания как огромные музеи, где рука скульпторов выставляла с плодотворным разнообразием изображения творений природы. Стрельчатая арка распространилась гораздо меньше, чем полуциркульная. Ее можно свести к двум фундаментальным типам: арабскому, или южному; германскому, или западному. Точно так же можно свести к двум большим разделам всю совокупность работ, выполненных по естественным наукам с двенадцатого по пятнадцатый век, а именно: попытки подражания и попытки оригинальные. Последние, кажется, в основном выпали на долю народов Севера, немцев, англичан, которые первыми почувствовали необходимость изучать собственную почву и прокладывать путь вне дороги, проложенной греками. Французы, итальянцы, фламандцы, бельгийцы проявили в этом отношении больше прохлады и нерешительности.

В начале четырнадцатого века изучение естественных наук продолжало следовать за греками и арабами; и, поскольку арабы часто не соглашались с греками, Диоскорид давая растению другое имя, чем ар-Рази или Серапион, это был плачевный источник ежедневных неопределенностей. Вместо того чтобы спрашивать саму природу, исследовать, сравнивать предметы, врачи и аптекари привязывались лишь к древним описаниям; они переводили арабские названия на греческий или передавали их аптечными наименованиями. Маттео Сильватика из Мантуи, имевший в Салерно прекрасный сад, где он выращивал полезные растения, был смущен в своих атрибуциях, как до него Симон из Кордо. Не представляя возможности сделать лучше, он пошел той же дорогой, что и его предшественник; он пытался прояснить один текст другим, тексты Диоскорида, Авиценны, Месуэ, Серапиона, тексты, которые он не мог исправить за незнанием оригинальных языков. Подобная работа, таким образом, ни к чему не приводила. *Фармакопея* флорентийца Дино дель Гарбо, ботанические смеси англичанина Ардерна из Ньюарка, *Кодекс* Манфреди о травах и растениях, используемых в медицине, едва ли имели большую ценность. Однако, для растений, росших у них перед глазами, Ардерн и Манфреди иногда расспрашивали природу. Якопо Донди и его сын Джованни, жившие в Падуе около 1340-1385 гг., хотя и копировали других, сумели, благодаря хорошо сделанным описаниям нескольких местных растений и благодаря более методичному порядку, заставить забыть своих предшественников. *Liber de medicamentis simplicibus*, иначе называемый *Herbolario vulgare*, произведение Джованни Донди, пользовалось большой репутацией. Его автор умер в 1395 году, унося в могилу глубокое уважение Петрарки, которое тот не расточал. Латинская книга ниже посредственной, *Собственник вещей* Бартоломея Английского из Гланвиля, удостоилась высокой чести получить переводчика по выбору Карла V. Переведенная на французский, ее популярность стала удивительной, без сомнения, потому что, содержа понемногу обо всем, она подходила поверхностным людям. Ее рукописные экземпляры находятся в главных библиотеках Парижа, в Королевской библиотеке Лондона, в Амброзианской библиотеке Милана, в библиотеке Ватикана и в Капитулярной библиотеке Меца, впрочем, столь богатой рукописями разных

жанров. Эта множественность копий не помешала имени Бартоломея Английского быть забытым, роковая судьба, которой никогда не избегают посредственные авторы и которая была у него общей с доминиканцем Генрихом Даниэлем, с Иоанном из Сен-Поля, Гальфредом, Николаем Болларом, Виривазием, Людовиком из Керлеана и т.д., и т.д., чьи произведения, упомянутые Таннером и Джеймсом, все еще существуют в крупных литературных собраниях Великобритании. Это мешанина праздной, неудобоваримой эрудиции, которую, однако, следовало бы раз и навсегда внимательно изучить, чтобы увидеть, через какие заблуждения должен был пройти человеческий дух, прежде чем достичь истины. Произведения Альберта Саксонского, умершего епископом Хальберштадта в 1390 году, хотя и выходящие из ряда абсолютно бесполезных творений, не заслуживали ни репутации, которой пользовались, ни многочисленных изданий, которые с них делали. Его книга о свойствах растений, минералов и животных, *Liber de virtutibus herbarum*, etc., его комментарии к Аристотелю, *De caelo et mundo*, *De generatione et corruptione*, свидетельствуют о некотором духе наблюдения, но почти детской доверчивости. Альберт Саксонский принадлежал Парижскому университету, который присвоил ему звание доктора и который, как говорят, считал его среди своих регентов философии.

Латинская Европа образовывала тогда, так сказать, единую нацию, которой различным центрам активности давали жизнь. Это были прежде всего университетские города: Париж, Милан, Болонья, Салерно, Монпелье, Оксфорд, Пиза, Прага, Кельн; это были, во вторую очередь, великие монашеские конгрегации, где сорок-пятьдесят сотрудников переводили, комментировали, оправдывали, преподавали и переписывали одну и ту же мысль, ту же теорию, ту же систему. Университет означал корпорацию. Были университеты права, университеты медицины, как университеты или корпорации монахов, портных и сапожников. Везде обнаруживается принцип ассоциации со специальным уставом, с определенной заранее целью. Труд различался в зависимости от людей: здесь – труд веры; там – труд науки; в другом месте – труд искусства или ремесла. Если мастер труда, какими были Винсент из Бове, Альберт Великий, святой Фома Аквинский, не доминировал над своей корпорацией, он оставался скованным ею. Следовательно, для освобождения независимости духа предлагались лишь два средства: нужно было вступить в братство художников или взять посох паломника и путешествовать. Иоанн Мандевиль избрал последнее. В течение тридцати трех лет он проносил по трем частям света свой беспокойный и любознательный характер. Одаренный столькими знаниями, сколько возможно было приобрести в четырнадцатом веке, знающий латинский, испанский, английский и романский языки; однако более доверчивый, чем сведущий, более благочестивый, чем наблюдательный, посещая реликвии и пренебрегая природными творениями, Мандевиль представляет истинный тип путешественников Средневековья. Их рассказы написаны с чистосердечием, с добросовестностью; они никогда не обобщают, и частности, которые они излагают, кажутся все сказками, выдуманными для забавы. Нельзя сомневаться, однако, что Мандевиль был добросовестным, когда утверждает существование племени эфиопов, имеющих лишь одну ногу, когда говорит о перце, растущем в Индии посреди леса протяженностью в восемнадцать дней пути, и рассказывает свои невероятные истории о баснословных животных или воображаемых растениях, смешанные с фактами, которые натуралисты и географы признали точными.

Начало пятнадцатого века

В начале пятнадцатого века естественная история, то смешивавшаяся с алхимией, то с токсикологией, фармакопеей или гигиеной, ещё не решалась освободиться от этой стеснительной опеки. Её разрозненные фрагменты встречаются почти во всех научных трудах того времени, особенно у Гюи де Шольяка, который собирал растения, навещая своих больных; у Валеска Тарентского, врача факультета в Монпелье; в «Фармакологии» Кристофора-Джорджа де Онестиса, и в книгах Никола Николая и Антонио Гуайнерио из Турина. Мы тем охотнее упоминаем этих трех последних авторов, что их рукописи хранятся в Национальной библиотеке в Париже (№ 6910, 6985, 6981, Старый фонд); и, просматривая их, особенно Джорджа де

Онестиса, мы были поражены их образованностью и проницательностью. Свет наконец начал проникать в хаос естественных наук.

Немец, оставшийся неизвестным, первым пришёл к мысли сопроводить свой текст изображениями, представляющими описываемые объекты. Он жил, по всей видимости, в первые годы века и обитал в одной из прирейнских местностей. Его труд озаглавлен: *Das Buch der natur* («Книга природы»); в нём находится описание животных, деревьев, кустарников и девяноста шести растений, выбранных из числа считавшихся полезными. Автор воображает, что дал общее представление о богатствах земного шара; однако он далеко не указывает даже все известные тогда растительные произведения, ибо, кажется, не пишет по греческим рукописям Аристотеля, Теофраста, Диоскорида и Элиана, тогда как охотно цитирует Плиния, Исидора Севильского и салернца Иоанна Платеария. Этот последний номенклатор, сухой, не критичный, но иногда точный наблюдатель, считался тогда весьма почтенным авторитетом. С его сочинений сняли множество копий; три экземпляра есть в Национальной библиотеке в Париже (№ 6954, 6976, 6988, Старый фонд); но *Buch der natur*, при всей своей неполноте и бесформенности, должен был заставить забыть их. Этой книге оказали честь несколькими переводами; её опубликовали на английском с помпезным названием *Зерцало мира* (*The mirour of the world*); она была переведена на латынь Конрадом фон Мегенбергом и позже удостоилась благоприятного иллюстрированного издания. Мы не нашли новых фактов, относящихся к естественным наукам, ни в *Светильнике аптекарей* Квирина де Августиниса из Тортоны; ни в *Сокровище ароматов* миланца Паоло Свардо; ни в *Великом светильнике* Якоба Манлиуса де Боско: это скорее книги по фармакологии, чем по фармации; но книги, особенно две последние, пользовались замечательной популярностью, о чём свидетельствуют многочисленные издания, выпущенные книготорговцами.

Новая блестящая эра для наук наблюдения

Новая блестящая эра для наук наблюдения зарождалась. Гравюра в той же мере, что и книгопечатание, должна была способствовать их прогрессу. Осада Майнца Адольфом Нассауским в 1462 году, рассеявшая рабочих-гравёров и рабочих-типографов, распространила от одного конца Европы до другого процессы Гутенберга и Шёффера, так что вскоре стало возможным представлять в одном сборнике и изображение предмета, и изображение мысли.

Учёные сначала подумали о воспроизведении текстов древних. В главных городах Италии для этой цели организовались объединения филологов. Плиний Старший, Аристотель, Теофраст привлекли их внимание. Уже в 1468 году Иоганн Шпейерский (Johannes Spira), типограф не менее искусный, чем выдающийся лингвист, обосновавшийся в Венеции, готовил, без сомнения, с помощью нескольких учёных, материалы для издания Плиния. Оно появилось в 1469 году. Это великолепная книга, подлинный шедевр типографского искусства, но где греческие пассажи оставлены пустыми, чтобы быть вписанными от руки. В следующем году типографы-партнёры Конрад Свейнхейм и Арнольд Паннарц публиковали в городе Риме то же сочинение. На этот раз знаменитый филолог Андреа, епископ Алерийский, следил за его корректурой с той тщательностью, которую он умолял всех переписчиков подражать, дабы, говорит он, не подвергнуться неразрешимым затруднениям, бесконечным трудам, сопутствовавшим его работе. Вот в каких выражениях издатель выражается: *Hereneus Lugdunensis Episc.: Item Iustinus ex pliilosopho Martyr. Item cum diuo Hieronymo Eusebius Cesariensis: serio poslerilatam adiurarunt: ut eorum descripturi opera conferrent diligenter exemplaria. et sollerti studio emendarent. Idem ego lum in ceteris libris omnibus lum maxime in Plynio ut fiat: vehemenler obsecro. obleslor. atq. adiuro: ne ad priora menda et lenebras inextricabites lanti sudoris opus relabant. Impressum Rome in domo Petri et Francisci de Maximis iuxta campum Flore presidentibus Magislris Conrado Suneynheym et Arnoldo Panaralz (sic).* Два года спустя наш соотечественник Николая Жансон, обосновавшийся в Венеции и чьи типографские мастерские соперничали с мастерскими Иоганна Шпей-

ерского, осмелился опубликовать в свою очередь Плиния, который заслужил не меньше поисков.

Аристотель был ещё почти полностью не издан. Единственные фрагменты его трудов, попавшие под пресс, не относились к естественным наукам. Его философия, риторика, политика интересовали больше и, следовательно, давали шансы на сбыт, которых не давали его труды по естественной истории и медицине. Выбор первого издателя, достаточно отважного, чтобы посвятить значительные суммы публикации технического трактата, который он приписывал Аристотелю, не был удачным. Этот типограф, по имени Лука де Брандис, издал в 1473 году в городе Мерзебурге (Саксония) *Aristotelis lapidarius cum aliis lapidariis*, диссертацию о воображаемых свойствах драгоценных камней, за которой следовал *Трактат о физиогномике*, опусы, переведённые с греческого на латынь, кишасшие ошибками и совершенно недостойные разумного наставника Александра; но, благодаря стараниям Феодора Газы, *Трактат о животных* Аристотеля наконец должен был стать известным. Достаточно счастливый, чтобы раздобыть различные копии одного и того же текста, Газа сверил их, исправил с щепетильной внимательностью и не подверг их латинскому переводу, пока не проникся их смыслом. Труд появился в Венеции в 1476 году.

В год публикации *Животных* Аристотеля типограф из Лиона, обосновавшийся в Парме, Стефан Корраль, опубликовал превосходное малоформатное издание трудов Плиния, пересмотренное, исправленное Филиппо Бероальдо; а Николая Жансон напечатал тот же труд, переведённый на итальянский язык. Последовательные издания римского натуралиста сделали его знакомым всем серьёзным людям, занимавшимся наукой и историей. Его идеи, истинные или ложные, были приняты; их комментировали; и заблуждение, благодаря чудесному, которым оно часто сопровождается, делало, быть может, более быстрые успехи, чем истина. Само книгопечатание стало сообщником ложных доктрин, предрассудков, учёных нелепостей, распространявшихся по миру, ибо оно воскресило, умножило множество сочинений, которые, конечно, лучше было бы оставить в забвении. К счастью, доброе семя вскоре смешалось с плеведами: два немецких филолога, два художника-типографа, Медемблих и Келлер, задумали превосходный проект издать латинские переводы Диоскорида, Аристотеля и Теофраста.

Естественные науки и филология только что понесли большую утрату в лице Феодора Газы, фессалийца по происхождению. Прибывший в Италию, как и многие другие, вслед за смутами на Востоке; привязанный долгими годами к прояснению греческих текстов, он оказал выдающиеся услуги той энергией, с которой он атаковал ложную философию Аверроэса и Александра Афродисийского, чтобы восстановить Аристотеля на его узурпированном троне. Если преувеличение его рвения, если смехотворность его притязаний навлекли на него немилость, Георгий Трапезундский, Иоанн Аргиропул, Георгий Геннадий пришли поддержать его и продолжить его борьбу против священников и против платоников Флоренции и Рима. Умеренность, логика, эрудиция послужили бы науке гораздо лучше, чем оскорбления, которыми эти философы, особенно перипатетики, осыпали своих противников; но из самого столкновения умов, сколь бы тягостным оно ни было, высекались искры, которые вскоре должны были осветить мир.

Движение книгопечатания как отражение идей

Общее движение книгопечатного дела всегда является верным показателем движения идей, ибо печатают только то, что надеются продать, а продают лишь то, что может интересовать, с какой-либо точки зрения, ту часть публики, к которой обращаются. Говоря об изданиях Плиния, Аристотеля, Диоскорида, мы обозначили продукты научной литературы, предназначенные для князей церкви, епископов, учёных, профессоров, достаточно разумных, чтобы оценить ценность античных источников; но арабы, схоластики Средневековья всё ещё имели своих приверженцев, своих почитателей. Следовательно, неудивительно, что для этих последних были опубликованы между 1473 и 1480 годами, будь то в Италии, либо в Аугсбурге, Страс-

бурге, Майнце, Кёльне, Лёвене и т. д., книга Младшего Месуэ о простых лекарствах, на итальянском; труды Винсента из Бове, Симона из Кордо, Маттео Сильватика; *Buch der natur*, на немецком и переведённый на латынь Мегенбергом; а также многие другие аналогичные сочинения, среди которых мы упомянем определённый трактат, извлечённый из трудов Альберта Великого и Альберта Саксонского, книгу *De animalibus*. Поспешим добавить, в честь века, что, как правило, эти публикации, чуждые греческой или римской древности, не были самыми востребованными. Единственная книга, надолго сохранившая свою популярность, и она её заслуживала, – это книга прославленного агронома Петра из Кресценци, оригинальный текст которого был, возможно, издан десять раз в конце пятнадцатого века в Лёвене, Аугсбурге, Страсбурге, Виченце и т. д., чей итальянский перевод появился во Флоренции, французский – в Париже, а немецкий – в разных городах, сначала без рисунков, затем с гравюрами на дереве в тексте.

Прогресс гравюры и ботанические иллюстрации

Одновременный прогресс такого рода гравюры и прогресс типографского дела, двойное преимущество, которое давало представление предметов напротив текста, хотя такой способ печати был ещё бесконечно дорогим, вдохновили на создание трудов, которые не были бы изобретены без этого. Видели, как бургомистр Любека, Арндес, любитель естественной истории, отправился в Палестину в сопровождении молодого художника-рисовальщика, совершил там свои молитвы, а затем занялся поиском в Леванте растений, описанных Диоскоридом, Серапионом, Авиценной и т.д. Те, которые он обнаруживал, зарисовывались на месте, с тем чтобы подогнать под них потом ту или иную указанную информацию. Трудности, неотделимые от такого исследования, неопределённость определения видов должны были останавливать, почти на каждом шагу, нашего натуралиста. Когда он вернулся, он велел выгравировать на дереве некоторое количество табличек, представляющих растения, которые он видел; но, вместо того чтобы описывать их самому, он поручил эту заботу Иоганну Кубе, врачу из Майнца, который перелистал арабов, взял из их книг выдержки, наиболее соответствующие гравюрам, особенно остановился на свойствах каждого растения и сделал из этой мешанины плохую книгу. Некоторые таблички верны; другие отвратительны; есть и чисто воображаемые: так что этот сборник, исполнение которого обошлось дорого, послужил лишь увековечению ошибок, пагубных для прогресса естественной истории. Пока Арндес с необъяснимой медлительностью продолжал исполнение своего предприятия, несколько Травников, обогащённых гравюрами на дереве, печатались одновременно в Майнце, Пассау, Лёвене. Два первых Травника, латинский и немецкий, вышедшие в Майнце в 1484–1485 гг., несут герб П. Шёйффера. Тот, что из Лёвена, вышедший, по всей видимости, из-под пресса Я. Велденера, – на фламандском. Травник из Пассау, перепечатка латинского Травника из Майнца, содержит сто пятьдесят гравюр на дереве, представляющих растения, под которыми помещены их названия на латыни и немецком; в следующем году в том же городе появилось его новое издание. Книга на немецком языке, одновременно гигиеническая и ботаническая, *Sad здоровья*, том in folio, обогащённый гравюрами на дереве, публиковалась в Майнце в 1485; в Аугсбурге в 1486 и 1487; в Ульме, без имени и даты, с более тщательными гравюрами; в Майнце и Виченце в 1491. Лишь тогда бургомистр Арндес выпустил свой сборник по естественной истории, in-4°, Любек, 1492, без пагинации и с разными заглавиями, а именно: *Das Buch der Kruder* и *Der lustige and nugliche Garde der Suntheil* («Книга трав, драгоценных камней и т. д.»); в нём находится пятьсот двадцать восемь рисунков. Мы сказали, что следует думать об их верности. Подобные сочинения обращались не к учёным; немедленный перевод их на народные языки, фламандский и французский, достаточно показывает, какой круг читателей они должны были интересовать.

Публикация арабских писателей и венецианское книгопечатание

Публикация арабских писателей, затрагивавших некоторые части естественной истории, не оставалась без внимания: печатали полные сочинения Авиценны, Авензоара, Аверроэса,

Месуэ, переведённые на латынь; из них выделяли различные фрагменты, которые издавали на итальянском, и почти всегда Венеция брала инициативу в такого рода предприятиях. Торговый очаг, питавший все народы мира, Венеция рассчитывала заранее, и весьма хорошо, шансы на сбыт. Множественные средства экспорта позволяли ей сбывать свои продукты быстрее, чем это делали другие города. Научный вопрос не занимал купца Сан Марко; он едва ли рассматривал что-либо, кроме промышленного вопроса. Выбор произведений, напечатанных венецианскими типографами, указывает скорее на общий вкус покупателей, чем на выбор, сделанный с намерением быть полезным. Если в течение одного года (1490) сочинения первых врачей-натуралистов арабов увидели свет в Венеции; если в последующие годы там дали несколько изданий тех же книг, в то время как шедевры Греции и Рима печатались в других местах, это зависит от различия капиталистов, скорее купцов, чем учёных, в Венеции, учёных или любителей, скорее чем купцов, в большинстве других мест. В пятнадцатом веке Венеция с её двумястами пятьюдесятью мастерами-печатниками была складом мысли, рассматриваемой как товар, но порыв научных и литературных идей исходил из других мест. Достоинство художников-типографов, таких как Иоганн Шпейерский, Николя Жансон, Кристоф Вальдарфер, Адам фон Аммергау и т. д., эрудиция корректоров, таких как Омнибон, Леоничено, Луиджи Карборне, приставленных к их прессам; публикация, исполненная ими, сочинений Цицерона и книг Плиния Старшего, ничуть не опровергают этого мнения. Венеция, кажется, вовсе не продвинула естественные науки ни на шаг, несмотря на разнообразные привозы, которые доставляли ей её корабли. Она едва ли более способствовала прогрессу других наук. Для Юга главный импульс исходил из Рима, Флоренции, Падуи, Феррары; для Севера – из Базеля, Майнца, Страсбурга, Лёвена и т. д. Он возникал также из маленьких, почти неизвестных городов, простых монастырских убежищ, где прелести мирной жизни привлекали собрание учёных, чьё присутствие засвидетельствовали некоторые типографские публикации. Так, когда с высоты кафедры, которую он занимал в Ферраре, Никколо Леоничено обрушил на восторженных почитателей Авиценны, Плиния и арабистов этот мужественный упрёк, прозвучавший от одного конца Европы до другого, Феррара сразу же заняла в науке больше места, чем занимала Венеция. Леоничено доказывал неточность, с которой Плиний консультировался с писаниями своих предшественников, и как мало он вопрошал природу; он адресовал тот же упрёк ещё более горько арабам, неверным переписчикам Плиния. Эти люди, говорит прославленный профессор, никогда не знали растений, о которых говорят; они крадут их описания у тех, кто предшествовал им, и которых они часто переводят очень плохо, откуда и произошёл настоящий хаос наименований, усиленный ещё неточностью и несовершенством описаний. Мало продвинутое состояние естественной истории мешает Леоничено всегда точно бить по ошибкам, которые он отмечает, по заблуждениям, на которые он указывает; но его письмо Анджеоло Полициано тем не менее заслуживает восхищения самых требовательных критиков. До него никто не говорил языком столь твёрдым, столь благородным, столь чистым. Этот опус озаглавлен: *De Plinii et aliorum medicorum in medicina erroribus*, Феррара, 1492, in-4°. Учёный натуралист Эрмолао Барбаро ответил Леоничено; Анджеоло Полициано также ответил ему, и Леоничено возразил им тоном учтивости, уважения к приличиям, умеренности, полной благородства и простоты, подлинным образцом литературной полемики. Пандольфо Колленуччо затем пришёл атаковать прославленного профессора, который, став очень старым, предоставил одному из своих учеников, Вирунио Понтико, заботу об ответе.

Под влиянием веских слов Леоничено произошёл в пользу Аристотеля, Теофраста и Диоскорида переворот, которым Альды воспользовались, чтобы издать их в оригинальном тексте. Эти драгоценные книги, пересмотренные, исправленные с такой щепетильной внимательностью, с таким глубоким знанием самим Альдом Мануцием (*Ex recensione Aldi Manutii*), были не единственными трудами, касающимися естественной истории, которые издавали Альды. Они публиковали, будь то в Венеции или в Риме, в 1488, 1497, 1501 гг., различные сочине-

ния Джорджо Валлы о растениях; *Лексикон ботанический* по греческим авторам; *Castigationes Plinianaе* Эрмолао Барбаро, 1492, 1493, in folio; Диоскорид, *De materia medica libri novem*, на греческом, 1499, in folio. Очевидно, тогда у Альдов было намерение завершить совокупность знаний по естественной истории, завещанных нам античностью, и присоединить к ним лучших современных комментаторов.

Конец века и зарождение критического подхода

В конце века, когда учёная Италия с восторгом принимала эти различные публикации, Пьер Карон печатал в Париже *Большой Травник на французском*, извлечённый из Авиценны, Разеса, Константина, Исаака, Платеария, переведённый с латыни. Этот Травник появлялся со множеством гравюр на дереве; одни подобны гравюрам из Травника из Майнца, некоторые новые, другие приспособлены к нескольким разным описаниям. Труд имел достаточный успех, чтобы его издатель Гийом Нивер опубликовал его второе издание. Книга гораздо более полезная, добросовестный труд Робера де Валле, печаталась почти одновременно с *Большим Травником*; это объяснение самых трудных пассажей Плиния-натуралиста, *Difficilium Plinii explicatio*, за которым следует словарь технических слов, употребляемых им и приведённых к их истинному смыслу. К сожалению, в эту номенклатуру вкралось множество искажённых выражений, которыми Плиний никогда не пользовался, без того чтобы Робер де Валле счёл необходимым их исправить или выразить сомнение. Труд появился в 1500 году, Париж, in-4°. Это был путь, открытый для комментаторов, которые последовали за ним и которые, более внимательные или более разумные, чем были их предшественники, прояснили столь трудный текст римского натуралиста. Со времён письма Леоничено, со времён критических наблюдений Эрмолао Барбаро и Филиппо Бераальдо его естественную историю принимали лишь под условием инвентаризации; даже произошла в его отношении несправедливая реакция, и стали склонны отвергать все вещи, исходившие от Плиния, которые не были санкционированы опытом или наблюдением. Ничто не могло лучше изобразить упадок доверия, в котором оказался этот прославленный натуралист, чем внезапный перерыв, случившийся в изданиях его книги. Между 1469 и 1486 годами Венеция, Рим, Парма, Тревизо соперничали в рвении умножить их. Появилось девять; но внезапно продажа труда замедлилась до такой степени, что в течение тридцати двух лет, до издания 1518 года, сделанного с исправлениями Эрмолао Барбаро, старых изданий хватало на потребности публики. Компиляция посредственной важности, озаглавленная *Opusculum sanctorum peregrinationum*, Бернарда фон Брайденбаха, опубликованная в 1486 году с довольно грубо исполненными рисунками чужеземных животных, заняла место в анналах естественной истории. Два века спустя Линней заимствовал из неё рисунок обезьяны, вставленный в его диссертацию об антропоморфах, или животных, подобных человеку.

Открытие Нового Света и его влияние

Когда древний мир возрождался из своих почти угасших пепелищ, новый мир призывал к исследованию европейцев. 6 сентября 1492 года Христофор Колумб поднял паруса; в следующем месяце он вступил во владение несколькими важными островами, среди которых Куба, которая для Испании стоит и теперь великого королевства; он открыл затем Ямайку, потом Парию, на западном континенте, о котором он мечтал. Эти быстрые завоевания электризовали соперничающее честолюбие различных мореплавателей. Уже в 1497 году Васко да Гама, обогнув мыс Доброй Надежды, достиг Каликута; в то время как, с другой стороны, Америго Веспуччи, отправившийся в том же году, открыл материк, которому дал своё имя. Отнюдь не любовь к науке, ни желание сравнить два полушария, разделённые Океаном, заставляло совершать столь долгие путешествия по неизвестным морям: короли хотели расширить свою мощь, приумножить свои богатства, и некоторые бесстрашные люди, движимые потребностью совершить великие дела, ставили своё существование и свою славу на службу королям. В этих многочисленных кораблях, возвращавшихся в Испанию, в Португалию, нагруженные золотом и экзотическими продуктами, едва ли находился какой-либо предмет, собранный любознательной

рукой с целью философской пользы. Однако привезли гваяк, который должен был стать столь драгоценным против сифилитической болезни; сассафрас, сарсапариль и разные аналогичные произведения, употреблявшиеся индейцами при определённых болезненных обстоятельствах. И здесь также, как случилось во все времена, фармация обогащалась разнообразными веществами, свойства которых наблюдали и засвидетельствовали задолго до того, как разумный ум классифицировал их согласно естественному порядку, которому они должны принадлежать. Вскоре любовь к науке также увлекла за моря некоторых людей. Кардан говорит (*De subtilitate*, книга VIII) о враче по имени Кодр, который заплатил жизнью за это похвальное любопытство. Его пример имел более счастливых подражателей, и в первые годы шестнадцатого века видели, как некоторые натуралисты итальянцы, испанцы, португальцы и немцы предавались поиску, изучению экзотических произведений, которые в изобилии доставляли новооткрытые обширные территории. Другие натуралисты исследовали Азию, главным образом Грецию и Египет, так что среди наблюдателей происходило резкое разделение, эти склоняясь к древним, которых они считали источником всякого света; те соблазнённые чудесами американского континента и чудесами Индий, куда только что прибыл Альбукерке (1505), и пренебрегая традициями старого мира, чтобы заниматься лишь особенностями нового. В ту эпоху, в первые два десятилетия шестнадцатого века, учёный натуралист, Иоанн Лев Африканский, совершил в Египте, Аравии, Армении, Персии, на побережье Триполи путешествия, описание которых ещё полезно для консультации; Пётр Мартир, облечённый дипломатической миссией на Востоке, воспользовался обстоятельством, чтобы проверить на местах данные Аристотеля, Теофраста и Диоскорида; Иоанн Манарди собирал растения в Польше и Венгрии; врач Дю Буа из Амьена, по прозвищу Жак Дюбуа (Якобус Сильвиус), объехал часть Франции, Германии и Италии, чтобы изучать творения природы; множество других молодых врачей последовали его примеру. Вкус к путешествиям, к далёким исследованиям стал общим; возникла идея делать коллекции предметов естественной истории, выращивать экзотические растения, размножать некоторые местные виды; садоводство получило развитие, и видели около 1500 года священника из Меца, мастера Франсуа, открывшего травянистую прививку, идея которой, утраченная в течение трёх веков, была воспроизведена Чуди и выдана за новое изобретение: *Multa renascentur quae jam cecidere*, говорит Гораций.

Ключевые фигуры на рубеже веков

Оттон Брунфельс и Иоанн Манарди, умершие с промежутком в два года, в 1534–1536 гг., после долгой жизни, посвящённой изучению природы; Эврик Корд, умерший в 1535, и чья столь же лёгкая, сколь элегантная речь умела возвысить сухость университетского преподавания, были подлинным треножником, поставленным в точке соприкосновения пятнадцатого века с шестнадцатым, чтобы персонифицировать множественное действие, подлинный характер универсальности усилий, составлявших тогда прогресс в естественных науках. Брунфельс, родившийся в Майнце, был не только издателем или переводчиком Диоскорида, Серапиона, Аверроэса, Разеса, Павла Эгинского; он наблюдал сам, прояснял тексты и описал множество растений, о которых не говорят древние. Его самый важный труд озаглавлен: *Herbarum vivae icones ad naturae imitationem summa diligentia et artificio effigatae, und cum effectibus earundem: quibus adjecta est ad calcem appendix isagogica de usu et administratione simplicium*, Страсбург, 1530–1536, 3 т. in folio. Это сборник всего, что древние написали о каждом растении, обогащённый двумястами тридцатью таблицами, гравированными с большой тщательностью, намного превосходящими всё, что было сделано прежде в этом роде. За менее чем десять лет вышли три его издания, и тот же успех увенчал печать немецкого текста, которую Брунфельс начал двумя годами ранее своей смерти. *Onomasticon medicinae, continens omnia nomina herbarum, fructuum, arborum, seminum, florum, lapidum pretiosorum, etc., etc.*, общий словарь, напечатанный в Страсбурге в 1533 году, также весьма разыскивался: с него сделали несколько изданий. Манарди, блестящий преемник Леоничено на кафедре, которую этот про-

славленный человек занимал в Ферраре, не написал и вблизи столько, сколько Брунфельс; но его *Annotationes et censurae in Joannis Mesuae simplicia et composita* выходят из ряда обычных комментариев. Их появление подтвердило высокое мнение, которое внушили о его знаниях как врача и натуралиста его *Медицинские письма (Medicinales epistolae)*, напечатанные последовательно в Ферраре, Париже, Страсбурге, Франкфурте, Базеле, Венеции и Лионе. Почти всегда он призывает на помощь греков и наблюдение, против рискованных, лживых утверждений арабских натуралистов. Эврик Корд, поэт скорее чем учёный, автор *Botanologicum seu colloquium de herbis*, Кёльн и Марбург, 1534 и 1535, часто жертвовал, из желания блистать, суетной роскошью эрудиции, наблюдением природы; но он давал чувствовать её чудеса и завоёвывал ей почитателей. Его сын Валерий, который со скамьи Марбургского университета отправился посетить Саксонию, Гарц, Богемию, Австрию, дабы расширить ботанические знания, ранее приобретённые, вернулся некоторое время спустя в Марбург, чтобы объяснять студентам университета текст Diosкорида и обогащать ботанический сад, начатый Эвриком Кордом. Ему обязаны знанием большого числа новых растений, превосходно изученных, и составлением достойных трудов, опубликованных позже учёным Геснером. Преждевременная смерть Валерия была настоящей потерей для науки; но порыв был дан, и множество молодых натуралистов соперничали в рвении. Так: Гини, учитель Улиссе Альдрованди, занимал в Болонье кафедру ботаники, прославленная соперница кафедры, основанной в Падуе в 1533 году для того же предмета; Антонио Муза, Леонардо Брассаволло, ученик Леоничено, соперник Манарди, учёный филолог и хороший наблюдатель, поддерживали в Ферраре блеск векового преподавания. В Германии Симон Гриней дал новое греческое издание Аристотеля, Базель, 1531, in folio; Бок, по прозвищу Трагус, собирал растения в Пфальце, Вогезах, Эльзасе, Шварцвальде и по берегам Рейна; Фукс, врач столь же разумный, сколь эрудированный, выдающийся ботаник, прилагал усилия, чтобы указать на грубые ошибки тех, кто без ограничений применял греческие или арабские названия растений к растительным видам, встречающимся в Германии. Его *Commentarii insignes*, замечательные тем, что дают точные описания, достоинство которых подчеркнуто ещё превосходными рисунками, начали появляться лишь в 1542 году, но уже репутация Фукса сложилась, даже как натуралиста. Эльзасец Лоренц Фриз, франкфуртский печатник Кристиан Эгенольф, граф фон Нойенар также заслуживают быть упомянутыми среди ревностных поборников естественной истории. Во всей Германии, особенно по берегам Рейна, естественные науки насчитывали усердных учеников; их было бы ещё больше, если бы ятрохимия не занимала многих индивидуумов, одарённых живым воображением, которые растрачивали в тщетных поисках своё существование и своё состояние. Англия следовала за Германией весьма отдалённо; Голландия – ещё дальше. Испания, Португалия, чьи корабли бороздили необъятные моря, каждый день открывавшие неисследованные берега, были поглощены одной мыслью – мыслью о золоте; ибо в этом великом множестве путешественников, высаживающихся в Америке и Индиях, мы находим лишь одного наблюдателя, которого можно упомянуть: Гонсало Фернандес де Овьедо, автора всеобщей и естественной истории Индии, опубликованной в 1526, 1535, 1541 гг. в Толедо, Севилье, Саламанке и т. д. Это нечто весьма неполное, несомненно, но по крайней мере в нём находится достаточно хорошо сделанное описание множества животных, деревьев, кустарников и растений, неизвестных до тех пор.

Франция в начале XVI века

В течение полувека Франция, казалось, держалась в стороне от движения, приданного естественным наукам. Среди стольких богословских бесполезностей, вышедших из-под прессов её печатников, едва ли замечаешь тут и там некоторые труды, имеющие предметом изучение природы. Упомянут латинское издание Diosкорида, сделанное в Лионе в 1512 году по кёльнскому изданию 1478 года; другое латинское издание, бесконечно более правильное, обязанное Жану Рюэлю, о котором мы поговорим сейчас, и которое появилось в Париже в 1516; издание Плиния, вышедшее из того же города в 1532, и несколько книг меньшей важ-

ности. В нашей стране редко случалось, чтобы серьёзный труд претерпевал счастливый случай немедленной перепечатки: очевидное доказательство медленности его сбыта. Тридцать лет прошло между первым и вторым французским изданием Плиния-натуралиста. Поэтому неудивительно, что наши типографы часто колебались рисковать дорогостоящими научными предприятиями, для успеха которых необходимо было предварительно иметь публику в их распоряжении. Знаменитый печатник Шарль Этьен, анатом и врач, соединявший с глубокими филологическими познаниями вкус к естественной истории, бывший одной из наших величайших литературных слав и умерший жертвой религиозной нетерпимости, желая служить науке, не компрометируя свою личную промышленность, был вынужден составлять и публиковать книги практической пользы. Его словарь естественной истории, чьи многочисленные издания свидетельствуют об успехе, стал превосходной спекуляцией. Он продавал не менее хорошо различные опусы по агрономии, садоводству, ботанике и лесоводству, которые, соединённые, составили основу *Praedium rusticum*, или *Сельского дома*, ставшего столь популярным, когда Льебо, зять Шарля Этьена, сделал его перевод. Садоводство было в моде; самолюбие богатых людей обращалось в эту сторону: каждый стремился обладать каким-нибудь неизвестным растением, цветком, прибывшим издалека. Принцы и прелаты, светские люди и плебеи охотно занимались садоводством; чем больше возрастало политическое возбуждение, тем больше вкушали прелести мирной жизни. Кардинал Жан Дю Белле, кардинал Лотарингский, два государственных деятеля той эпохи, имевшие величайшие дела для решения, отметились в истории садоводства и растений: они поощряли, благоприятствовали хорошим культурам; они понимали пользу ботаники, и не раз видели, как они отряхивали тяжкое бремя политики, чтобы отправиться, один в Мёдон, другой в Сен-Мор, жить вдаль от людей, среди цветов. Упоминают три публичных ботанических сада, основанных в первой половине шестнадцатого века: сад в Пассау, начатый в 1533 году Даниэле Барбаро; сад в Пизе, основанный десятью годами позже Гини, который в следующем году также устроил сад во Флоренции на средства Медичи. Сады Корда, И. А. Нордеция Касселануса и Дю Белле были отнюдь не открыты первому встречному. Существовали и другие, которых Шарль Этьен, быть может, не знал, и которые стали для натуралистов драгоценным источником исследований. Конрад Геснер упоминает, в частности, сады Доминика Обрехта, Иеронима Мессарии, Израэля Манкеля, в Страсбурге. В них выращивали множество экзотических растений, которые без них, быть может, этот Плиний Германии никогда бы не увидел и не описал.

Освобождение естественных наук и первые систематики

Мы наконец подходим к решительному моменту, когда естественные науки, освобождённые от своих оков, возьмут свободный разбег. Уже исследования стали более серьёзными, гравюры более верными: француз Жан Рюэль, каноник и врач, филолог и натуралист, автор второго перевода Диоскорида, напечатанного Анри Этьеном, опубликовал в 1536 году в Париже о природе и истории растений замечательный труд, почти сразу воспроизведённый в Базеле и Венеции; книга, полная эрудиции, разумных взглядов, которому недостаёт для превосходства лишь одного – опыта, даваемого путешествиями. Рюэль никогда не был дальше Иль-де-Франса и Пикардии, потому он часто смешивает растения Греции и Италии с теми, что перед глазами. *Historia stirpium* Леонарда Фукса, величайшего ботаника шестнадцатого века, первого, кто представил растения надлежащим образом, – единственная книга, сравнимая с книгой Жана Рюэля; она появилась в 1542 году. Рюэль даёт триста видов с их народным названием по-французски; Фукс представляет пятьсот, гравированных штрихом, но очень точных и в большом масштабе.

С той же эпохи датируется плодотворная эра трансокеанских наблюдений, путешествий, подлинно полезных: португальцы открыли путь в Китай, завоевали Бенгалию, достигли Японии; испанцы занимают Перу, Мексику, Флориду; можно объехать Америку, совершить континентальный объезд Китая, Индии и Африки до Конго и начать серьёзные изучения под защи-

той европейских знамён, водружённых на всех главных берегах. Общество, полное решимости и отваги, общество иезуитов, занятое моральным завоеванием населения, оказало науке важные услуги. Первые факты естественной истории, собранные с пониманием дела, за морями, приходят к нам от иезуитов. Япония в особенности предоставила им интересные сообщения. Во времена, когда дипломатия ещё не была наукой, послы, будь то иезуиты или придворные люди, имели двойную миссию – поддерживать добрые отношения с иностранными государями и собирать точные сведения об экзотических произведениях: так, имя Бусбека, этого неутомимого ботаника, поверенного в делах Франции при Порте, неотделимо от имени Маттиоли; имя Пелиссье, французского посла в Венеции, неотделимо от имени Рондле: так, обязаны Сигизмунду фон Герберштейну, послу Максимилиана I при Василии IV, великом князе Московском, знанием литовского зубра и дикого быка, исходного типа домашнего быка. Труд Сигизмунда, *Rerum moscovitarum commentarii*, составленный одновременно с трудом Олауса Магнуса, архиепископа Упсальского, озаглавленным *Historia de gentibus septentrionalibus*, содействовал, вместе с последним, привлечению внимания публики к неисследованным странам. Олаус, обманутый преувеличенными или лживыми рассказами шведских беженцев в Италии, был гораздо менее правдив, чем Сигизмунд, и очаровал больше. Это Олаус приписывает росомaxe инстинктивную мысль сдавливать свой желудок о дерево, чтобы освободиться от избытка пищи и поглотить новые яства; это он говорит о змеях длиной в полторы лье; даёт историю кракена, гигантского спрута, принятого некоторыми мореплавателями за остров и погружающегося в море после того, как на него бросили якорь... Географическая карта, опубликованная в Венеции, закрепила, популяризировала баснословные идеи Олауса Магнуса.

Путешествия и опыт: Бернар Палисси

Наконец, опыт, даваемый путешествиями, когда наблюдение приходит ему на помощь, человек гения собирался употребить его: около 1535 года из жалкой хижины в Перигоре, с сумой на плече, отправился простой работник двадцати пяти лет; он объехал Пиренеи, пересек Францию, Овернь, Дофине, Пуату, Бургундию, Франш-Конте, Лотарингию, Арденны, Шампань, Нидерланды, берега Рейна, занимаясь одновременно стеклоделием, портретной живописью и землемерием; изучая топографию, неровности почвы, природные диковинки; посещая каменоломни, рудники; опрашивая по очереди крестьян и природу и давая себе научное образование, с помощью одной лишь силы своего ума. Этого молодого человека звали Бернар Палисси. Его экскурсии завершились в 1539 году, когда, после нескольких лет размышлений и трудов, в течение которых он выучил, говорит он, науку с зубами, выражение мучительной истины, хорошо передающее его лишения, работник, горшечник, бедный черепичник из Перигора, без образования, без всякого понятия о литературе или истории, вырос на всю высоту первых учёных, первых художников мира. Он угадал основные законы, открытые три века спустя, и ждал лишь момента установить основы, на которых покоятся ещё геология, садоводство и некоторые части физики. Религиозные смуты, несчастья Палисси задержали на тридцать пять лет это проявление полезных истин; тридцать пять лет ожидания!.. Но убеждённость великого человека от этого стала лишь глубже, а его успех – вернее. Страдания, которые он испытывал, невообразимы; он сам оставил их трогательное описание: это один из наилучше написанных отрывков на нашем языке. Вынужденный постоянно повторять дорогостоящие попытки, чтобы получить эмали, секрет которых он имел задолго до того, как узнал их обжиг, он довершил своё разорение, как Георг Агрикола довершил своё, с уверенностью достичь конечного результата. Было много аналогии между этими двумя знаменитыми современниками. Активная эпоха их трудов полностью совпадает: Агрикола сделал в Саксонии для металлургии то, что во Франции совершил Палисси для эмалированной глины. Оба имели могущественных покровителей, щедрых Меценатов, которые, однако, оставались ниже требований науки и жестоких нужд, которые чувствовал гений в борьбе с невозможностями нищеты. Тем из своих друзей, кто советовал ему заниматься медициной, нежели продолжать дорогостоящие исследования,

Агрикола отвечал: «С медициной дело обстоит как со священными орденами: это общие места человеческого разума; всякий посредственный ум может странствовать по ним на досуге. Но литература! Но науки! Лишь гений ведёт по ним, и лишь он имеет право там царствовать». По Кювье, Агрикола в минералогии – то же, чем был Конрад Геснер в зоологии. Химическая часть, особенно пробная часть металлургии, уже изложены им с бесконечной тщательностью и ясностью. Современники не сильно усовершенствовали их с тех пор. Первый труд Агриколы, светлая отправная точка, в форме диалога между Николаем Анконским, Иоганном Нэзиусом, его учителями, и химиком Бергманом, озаглавлен: *Bergmannus, seu dialogus de re metallica*. Он появился в Базеле в 1530 году; в Париже, в 1541; затем, в Лейпциге и Женеве. Его труды *De ortu et causis subterraneorum*, in folio; *De re metallica*, in folio, были опубликованы в Базеле в 1546 году, и его книга *De animantibus subterraneis* – в том же городе двумя годами позже. Они приобрели для своего автора величайшую, самую законную знаменитость. С них сделали несколько последовательных изданий; перевели их на немецкий; Венеция напечатала на итальянском языке труд *De ortu et causis subterraneorum*. Один лишь человек, более счастливый, не будучи богаче Агриколы, и шедший по той же линии, мог соперничать с ним славой; это был, как мы уже назвали, Конрад Геснер. Названный Плинием Германией, сокровищем удивительной эрудиции, к нему можно было бы применить эти слова, которые он, несомненно, заслужил больше, чем Казаубон: *O bibliographorum quidquid est, assurgite huic tam colendo nomini!* Родившийся в Цюрихе, но ученик школ Страсбурга, Парижа и Монпелье, Геснер по своему воспитанию принадлежит Франции в той же мере, что и Швейцарии; по порядку и методу, которые он вводит в свои труды, он даже гораздо ближе к французскому духу, чем к немецкому, и составляет почтенное исключение посреди беспорядочной груды неудобоваримых знаний, которые для забавы нагромождали его современники. Имеются от Геснера весьма важные труды по трём царствам природы. Однако, хотя его переписка свидетельствует о некоторых исследованиях относительно минералов, он занимался ими мало, будучи убеждён, что импульс, который придаст Агрикола этой части наук. Зоология и ботаника поглощали его по существу. Если он не установил в зоологии ни родов, ни систематической классификации, по крайней мере он часто указывает подлинные отношения, существующие между существами. Его работы о растениях не ниже по уровню, чем его работы по зоологии; быть может, он даже показывает в них более широкие и плодотворные взгляды. Подлинный создатель научной ботаники, Геснер открыл первым искусство определять растения посредством изучения органов плодоношения. Он указал несколько естественных семейств, признал свыше восьмисот новых видов и ввёл обычай применять к растениям имена знаменитых натуралистов. После различных учёных компиляций, ныне лишённых интереса; после изучения в их оригинальном тексте Аристотеля, Diosкорида, Теофраста, Плиния, Элиана, полное издание которых он дал с примечаниями; после консультаций с современниками, особенно с Кордом, Brassаволло и Трагусом; после неутомимых сборов растений во Франции, Германии, Эльзасе, Швейцарии, Италии, через Вогезы, Альпы и Юру; зная больше вещей, чем любой натуралист его эпохи; имея почти всегда рядом с собой рисовальщика и гравёра, которым поручал представлять предметы, которые описывал, Геснер начал около 1550 года согласование многочисленных материалов, которые доставили ему его чтения, его поездки и его переписка с большинством учёных Европы. Он хотел опубликовать естественную историю известного мира, гигантское предприятие, но которое не должно считаться ниже ни его терпения, ни его гения. Геснер рассчитывал на долгую жизнь; небо сделало её для него слишком короткой, и его великий труд, о котором он, без сомнения, сожалел, что не занимался исключительно им, остался незавершённым. Первая книга *Historia animalium*, трактующая о живородящих четвероногих; вторая книга – о яйцеродных четвероногих; третья книга – о птицах; четвёртая книга – о рыбах и других водных животных, имели преимущество появиться на глазах автора, в Цюрихе, в 1551, 1554, 1555, 1558 гг.: даже история птиц была переведена почти сразу на немецкий язык Рудольфом Хойсслином; история рыб и история

четвероногих – Конрадом Форрером, которые, печатая свой перевод в городе Цюрихе, где жил Геснер, давали текст столь же точный, как оригинальный. Животные расположены в алфавитном порядке их латинских названий, к которым автор добавляет названия, которые они носят на разных древних или современных языках; затем он описывает их, указывает их разновидности, их родину, их нравы, их привычки, их болезни, их пользу в домашнем хозяйстве, медицине и ремёслах; образы, которые они дали поэзии, красноречию, геральдическому искусству. Пассажи писателей древних, пассажи современных, которые могут иметь какое-либо отношение к рассматриваемому животному, верно приведены. С трудом можно представить эрудицию столь обширную, и вкус, который ею руководит, не менее достоин восхищения. Этот поразительный репертуар, основа всех трудов, опубликованных с тех пор по зоологии, – превосходный путеводитель, откуда многие люди заимствуют своё искусственное знание. Ясность, точность, добросовестность, тонкость взглядов Конрада Геснера позволяют ему до сих пор доминировать на горизонте науки. Он проделал аналогичную работу по растительному царству, проконсультировал двести шестьдесят авторов, собрал тысячу пятьсот превосходных рисунков, большей частью гравированных, и составил множество заметок. В декабре 1565 года, когда он увидел приближение смерти, он призвал к своему ложу Гаспара Вольфа, своего возлюбленного ученика, завещал ему свои рукописи и поручил опубликовать из них то, что тот сочтёт полезным. Вольф издал гораздо позже часть истории животных, касающуюся змей, и продал за ничтожную сумму в сто пятьдесят флоринов Иоахиму Камерарию всё, что смог собрать из фрагментов и таблиц Геснера, относящихся к растениям. Исследования о насекомых потеряны; его идеи об окаменелостях, петрификациях и кристаллах суммированы в конце сборника под названием *De omni rerum fossilium genere, etc.*, который он велел напечатать в 1555 году, Цюрих, in-8°. Чтобы хорошо знать, ценить этого прославленного натуралиста, нужно было бы прочитать все его труды; нужно было бы следовать за ним через необъятность его переписки, подлинной научной сети, связывавшей между собой разные части Европы; которая из множества прилежных наблюдателей, рассеянных по миру, образовывала связку нравственных сил, направленных к одной цели. На наиболее активный период трудов Геснера приходятся плодотворные путешествия Бенцони в Америку; Белона, Фюме, Пьера Жилия, Теве в Левант; путешествия англичанина Уильяма Тёрнера, пруссака Виланда, Альдрованди, Рондле и Иеронима Кардана; это эпоха сборов растений Никола Мутрони и Марауды как в Швейцарии, так и в Италии; Додонса, который в течение тридцати шести лет объезжал Дофине и соседние провинции; Гийома дю Шуля, на горе Пилат, где его предшествовал Конрад Геснер; странствие, считавшееся до тех пор опасным, окружённое ловушками злых духов и которое нельзя было совершить без разрешения, должным образом заверенного правительством Люцерна. С той же целью научных занятий Адам Лоницер объезжал берега Майна; Додонэус, или Додоэнс, Бельгию и Голландию. Это время, когда развилась мысль о коллекциях; когда кабинет каждого наблюдателя становился собранием воспоминаний, собранием титулов, доказательств и примеров. Приписывают Геснеру идею первого кабинета естественной истории; ошибка: та же идея должна была родиться спонтанно у всякого, кто путешествовал с серьёзной целью. Наш Палисси, наш Амбруз Паре, который, однако, не был великим натуралистом, завели себе кабинет редкостей прежде, чем Геснер подумал начать свой. Существовали, без сомнения, и многие другие аналогичные собрания; натуралист, если только не осуждал себя на печальную роль компилятора, не мог писать, не имея перед глазами своих доказательств.

Долина Рейна как научный центр

Мы уже указывали долину Рейна, от Шаффхаузена до Дюссельдорфа, как своего рода литературную арену, где боролись неутомимые бойцы, где друзья природы давали друг другу свидание. Центр Европы, подступающий к Альпам и морю, предлагающий на протяжении ста пятидесяти лье самые разнообразные местности, самые различные произведения, самую активную торговую промышленность, самых замечательных людей, Рейн своим звучным и

торжественным голосом привлекал почти всех тех, кто культивировал науки наблюдения. Многие молодые врачи швейцарцы, немцы, французы, бельгийцы, итальянцы, по завершении учёбы, совершали экскурсию по берегам реки и охотно останавливались в Базеле, Страсбурге, Майнце, Франкфурте, учёных городах, чьи либеральные учреждения составляли их известность. Страсбург и Франкфурт опубликовали фармакологические труды Ремакля Фукса, Вальтера Германа Рыффа; перевод Диоскорида, сделанный другом Геснера, И. Данцем Астским; полемические брошюры, порождённые дискуссией Иоганна Корнара с Л. Фуksom; трёхязычный ботанический лексикон эльзасца Давида Кибера и т. д. Нигде больше не приближались к подобному соревнованию. Однако следует указать наблюдения по естественной истории Помпилия Адзали из Пьяченцы; писания о лекарственных растениях Индии, обязанные Грасиасу аб Орта и Нику Менардесу; исследования Гаспара Пойцера, зятя Меланхтона; публикацию бельгийского гербария и других трудов Додонэуса; открытия Фаллопия; труды Уильяма Тёрнера, ботаника не менее выдающегося, чем анатома; но особенно *Комментарии* Маттиоли на Диоскорида, значительный репертуар большого исторического интереса, поскольку он содержит почти всё, что знали тогда о медицинской ботанике. Маттиоли прибежал, как и Анджутилара, к самым древним греческим рукописям, чтобы восстановить искажённые пассажи. Издание 1565 года, которое мы считаем двенадцатым, весьма ценится. Оно содержит лучшие гравюры на дереве, какие появлялись до тех пор; некоторые, к несчастью, сделаны по воображению. Антверпен, Лион, Париж также платили весьма щедро свою дань естественным наукам. Из типографских мастерских Антверпена вышли испанский Диоскорид Андреаса Лагуны и Тарава; *Historia frugum*, *Historia stirpium* и *Herbarius belgicus* Додонэуса; естественная история Нового Света Иеронима Бенцони, которая почти сразу удостоилась благоприятных латинского, английского и французского переводов; латинские издания Грасиаса аб Орта, Менардеса и т. д. Лион опубликовал не только латинского Плиния, но ещё перевод этого натуралиста, сделанный Дю Пине; французский перевод Диоскорида, сделанный Мартином Маттакусом; перевод *Комментариев* Маттиоли, сделанный тем же Дю Пине, и множество книг по фармакологии или фармации. Париж переиздал Диоскорида, пересмотренного Жаком Гупилем, исправное издание, украшенное таблицами *Hortus sanitatis*; дал одновременно с Лионом несколько изданий Иеронима Кардана; сделал известными первые труды по естественной истории Жака Дюбуа (Сильвия), Бернарда Фукса; путешествия Пьера Жилия, Белона и, что более важно, *Историю природы птиц* этого же Белона, одного из самых точных наблюдателей, одного из самых разумных номенклаторов эпохи, когда поиск чудесного сбивал с толку столько воображений. Белон, умерший убитым в 1564 году в возрасте сорока семи лет, после того как добыл долгими и тяжкими путешествиями драгоценную коллекцию по естественной истории, понял необходимость трактовать орнитологию с порядком и классифицировать птиц; но его метод не предлагает ничего подобающим образом установленного; он располагает особой согласно их привычкам, а иногда согласно их внешним формам и организации. Первая книга этого трактата, посвящённая анатомии птиц, сравненной с анатомией человека, достойна высочайшего интереса, полна изобретательных взглядов, оригинальных мыслей и ставит французского натуралиста на уровень Конрада Геснера; ибо, если швейцарский натуралист нашёл элементы классификации растений, Белон открыл элементы органической классификации яйцеродных. В книге под названием: *Remonstrances sur le défaut du labour et culture des plantes*, etc. (Париж, 1558, in-8°), Белон советует основать питомник чужеземных деревьев, которые он указывает номинально; он хотел бы также, чтобы для услады и приумножения знаний учёных, выращивали в общественном месте разнообразные виды растений; идея, реализованная полвека спустя в Париже, когда к четырём ботаническим садам, упомянутым ранее, Болонья, Рим, Лейден, Лейпциг, Альтдорф и Монпелье давно уже добавили свои.

Ихтиология и соперничество учёных

Рондле, Сальвиани, считающиеся величайшими ихтиологами Франции и Италии, знали Белона. Неприятное соперничество поссорило их, когда, случайно собравшись в городе Риме, они разрабатывали труд в целом, славу которого каждый из них оспаривал. Публикации Белона опередили публикации его соперников; но Сальвиани, благородный римлянин, уже печатал у себя свою *Aquatilium animalium historia*, и Рондле, которому могущественно помогала мощна Пелиссе, ускорял появление своей орнитологии и своей ихтиологии, опубликованных одна и другая между 1554–1558 годами. Труд Сальвиани, замечательный главным образом своими таблицами на меди, первыми, какие ввели в книги по естественной истории, хорошо описал рыб Тибра, тех Иллирии, Архипелага, и некоторые виды змей и моллюсков; Рондле лучше, чем кто-либо из современных, описал рыб Средиземного моря; Белон – рыб Севера, берегов Окееана и Ла-Манша. В одном, как и в другом сборнике, нет ни порядков, ни родов, ни расположения видов; ничего из систематического плана, который обилие ныне известных вещей делает необходимым, чтобы в них ориентироваться. Белон и Рондле, тем не менее, не оставляют незамеченными различные отношения, различные совпадения между видами; Рондле даже заботится группировать свои согласно порядку родов, и он показывает познания сравнительной анатомии, которые относятся к природе профессуры, которую он исполнял в Монпелье. Три века изучения не смогли низвергнуть Сальвиани, Белона и Рондле, двух последних особенно, с высокой точки, которую они занимают в естественных науках. Они ещё служат авторитетом.

В сравнении с наблюдателями столь серьёзными, с эрудитами столь глубокими и писателями столь выдающимися мы, несомненно, не поставим ни Теве, ни Жана де Лери, путешествовавших как путешествуют туристы, искавших странностей, собиравших об аномалиях природы множество апокрифических фактов. Они объясняют вмешательством дьявола или незаконными совокуплениями явления, в производстве которых Эмпедокл и Демокрит допускали либо отсутствие, либо избыток, либо рассеяние плодородного семени.

Париж как новый центр науки

Белон, Геснер, Леонард Фукс, Рондле, раз умерев, и они последовали в могилу достаточно близко друг к другу, никто в Европе не мог дать пароль исследователям природы; ибо Маттиоли был слишком стар; Жан Бауэн, слишком молод; Додонэус, менее наблюдатель, чем эрудит, вёл жизнь столь же странствующую, сколь и беспокойную; Шарль де Леклюз только начинал свои интересные странствия; Альдрованди ещё ничего не опубликовал. Свет предлагался рассеянным; их очаг не существовал нигде; но присутствие в разных городах людей учёных или прилежных придавало каждому из них научное превосходство, которое не осталось без действия на прогресс естественной истории. В Италии мы назовём Болонью, Пиза, Падуя, Венецию; в Голландии и Фландрии – Антверпен, Лейден, Лёвен; во Франции – Лион, Париж; в Германии и вдоль Рейна – Аугсбург, Гейдельберг, Нюрнберг, Цюрих, Базель, Страсбург, Франкфурт. Другие великие города, не исключая Лондона и Рима, шли лишь вслед за ними; но вскоре Парижу предстояло поглотить все городские известности, блеском своих учреждений, славой нового преподавания, прославлением могущественных гениев, чей голос должен был волновать, увлекать неверующих, как это делал голос оракулов античности.

Бернар Палисси и его публичные лекции

Палисси наконец покинул свою провинцию и, с рукой, полной новых истин, он продвигался с уверенностью, под покровительством кардинала Лотарингского, коннетабля Монморанси и короля, чтобы учить тому, что открыл или выдумал. «Я рассудил, – говорит он, – что я много употребил времени на познание земель, камней и металлов, и что старость торопит меня умножить таланты, кои дал мне Бог, а потому что было бы хорошо положить на свет все эти прекрасные тайны, чтобы оставить их потомству... Я задумал выставить афиши на перекрёстках Парижа, дабы собрать самых учёных врачей и других, которым я обещал показывать в трёх лекциях всё, что я познал о источниках, камнях, металлах и других природах. И дабы оказались только самые учёные и самые любознательные, я поместил в моих афишах,

чтобы никто не входил, не уплатив эю при входе на эти лекции, и это я делал отчасти, чтобы видеть, не смогу ли я, при помощи моих слушателей, извлечь какое-либо противоречие, которое имело бы более уверенности в истине, нежели доказательства, которые я выдвигал: зная хорошо, что если я лгу, найдутся из греков и латинян, которые воспротивятся мне в лицо и которые не пощадят меня, как из-за эю, которое я взял с каждого, так и за время, которое я их забавлял: ибо среди моих слушателей было мало таких, кто не извлёк бы из чего-то пользу, пока находился на моих лекциях. Вот почему я говорю, что если бы они нашли меня лжецом, они бы хорошо отбрили меня: ибо я поместил в моих афишах, что, если бы обещанные в них вещи не были истинными, я верну им вчетверо. Но благодарение Богу моему, никогда человек не противоречил мне ни единым словом». Палисси даёт список тридцати двух почтенных и ученейших лиц, которые, не считая многих других, присутствовали на его курсе: три врача, два хирурга, два аптекаря, два адвоката, два аббата, некоторые учёные, некоторые дворяне, все расположенные подтвердить, защитить его утверждения. Начатый в 1575 году, этот курс был возобновлён в следующем году, дабы иметь большее число свидетелей, и продолжался до 1584 года. Если он не получил популярного успеха, то имел успех уважения, гораздо более долговечный. Медицинский факультет, духовенство не осмелились атаковать наблюдение, сколь странным оно ни казалось, шедшее, опираясь на материальные доказательства; и, благодаря гению Бернара Палисси, геология заняла место среди наук. Когда он говорит, что «рыбы, окаменевшие в нескольких каменоломнях, были порождены на том же самом месте, в то время как скалы были лишь водой и грязью, которые с тех пор окаменели вместе с упомянутыми рыбами», он выражает основополагающую истину, против которой восставали два насмешливых века и которая составляет основу современной геологии. В другом месте он признаёт несуществование человека и некоторых животных в эпоху образования окаменелостей; он различает воду кристаллизации и воду растительности, сродство солей, способ развития камней и минеральных веществ посредством интуссусцепции; он открывает происхождение облаков, источников, причину землетрясений, артезианских фонтанов; он хорошо объясняет разницу в качестве минеральных вод, питьевых вод и земель и т. д.; обобщая идеи, проникая интимным образом в великие вопросы агрономии, физики, химии, применённой к ремёслам, он угадывает множество вещей, принятых ныне как принципы, такие как притяжение, сродство, расширительная сила пара, металлическое окисление и т. д. Бессмертный труд, где впервые Палисси дал простор глубоким мыслям, которые вынашивал, озаглавлен: *Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu'artificielles, des métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émaux; avec plusieurs autres excellents secrets des choses naturelles plus, un traité de la marne, fort utile et nécessaire à ceux qui se mellent de l'agriculture: le tout dressé par dialogues, ès quels sont introduits la Theorique et la Practique, par Me Bernard Palissy, inventeur des rustiques figulines du roy et de la Royne sa mère*. Париж, Мартен Младший, 1580, in-8°. Здесь, как в *Recepte veritable d'augmenter ses thresors*, опубликованной в 1563 году в Ла-Рошели, речь идёт не о простой беседе на разные мало углублённые предметы, но о систематической совокупности по общей физике, химии, геологии, естественной истории и *Искусству земли*, существенному предмету его размышлений и изучений. В каждой фразе узнаёшь то учёного, то художника, богатого познаниями, тяжко приобретёнными, богатого воображением и разумом. Какую удивительную импульсивность придал бы этот человек физическим и естественным наукам, если бы, как Амбруаз Паре, он не был единственным сыном своих творений, и если бы эпоха оказалась на уровне его гения! Читая его, удивляешься, что потребовалось идти три века, прежде чем дойти до Кювье. Правда, что после него яркий свет, спонтанно озаривший глубины геологии, исчез. Занимались почти лишь орнитологией, металлургической минералогией и ботаникой, ботаникой особенно. Очень немногие люди обобщали. Среди самых замечательных произведений последних двадцати пяти лет века мы укажем сначала, как произведение царственное, богатое собрание господина Эрнандеса, первого врача Филиппа II, который, будучи уполномо-

чен этим монархом собрать животные, растительные и минеральные произведения Мексики, истратил шестьдесят тысяч дукатов, чтобы зарисовать двенадцатьсот рисунков, опубликованных принцем Чезаре; это была прекрасная и великая мысль: к несчастью, Эрнандес подавил её под беспорядочной кучей комментариев. Гарсиа да Орта, или из Сада, лучше вдохновлённый, нежели Эрнандес, сопровождая вице-короля Индий к месту его правления, устроил на острове, где ныне возвышается Бомбей, ботанический сад, предназначенный для выращивания растений, полезных в медицине. Труд Гарсиа, плод последовательных изучений, напечатанный в Гоа и переведённый на французский Леклюзом, произвёл переворот во фармации, ибо ввёл в неё алоэ, асафетиду, бензой, лак, камфору, бетель, мацис, корицу, гвоздику, мускатный орех и т. д. В менее специальной книге иезуит Хосе де Акоста, объездивший Перу, сделал известными, независимо от новых лекарственных растений, мимозу, различных животных и ископаемые кости, которые он, разумеется, считал костями гигантов. Исследования Фрэнсиса Дрейка вдоль западного побережья Америки до Калифорнии; открытие Виргинии сэром Уолтером Рэли, адмиралом Елизаветы и Якова I; путешествия Мартена Фюме в Индии; путешествия Леонарда Турнезия в Испанию, Португалию, Египет, Шотландию; Проспера Альпина в Египте и Сирии, были также полезны для прогресса естественных наук; более полезны, несомненно, чем лживые рассказы Жана де Лери, чьи последовательные издания свидетельствуют об их народном успехе. Но ни один натуралист не извлёк из собственных путешествий, или из открытий своих предшественников, столько плода, сколько Маттиас Лобель и Андреа Чезальпино. В книге под названием *Stirpium adversaria nova*, посвящённой королеве Елизавете, Лобель, опираясь на наблюдения, собранные в Пиренеях, на Альпах, в Швейцарии, в Германии и т. д., установил впервые резкое различие между растениями однодольными и двудольными, деление, ставшее столь же основополагающим в ботанике, как в зоологии деление животных позвоночных и беспозвоночных. Он имел чувство естественных семейств: он классифицировал злаки, орхидеи, пальмы, мхи; он сблизил губоцветные с норичниковыми и зонтичными; но множество других растений осталось ещё вперемешку, ожидая, чтобы занять определённое место в рамках творений природы, пока человек гения не сказал своего слова. Это верховное слово, интуитивное откровение свыше, Чезальпино чуть было не произнёс; он касался его пальцем и умер, не найдя его. Протекло два века, прежде чем новый гений, Жюссье, поставил себя на точку зрения Чезальпино. Этот прославленный ботаник, который был, как Альдрованди, учеником Гини, сравнил семена растений с яйцом животных, дал название растений мужских настоящим мужским, то есть тем, которые несут тычинки, и название женских растениям, дающим семена; он различал пятнадцать классов и допускал роды в каждом классе; он изучал анатомию, органографию, физиологию растений и открыл подлинный путь, которому следовало следовать. Его идеи, однако, как идеи Геснера, не получили немедленно всеобщей санкции других натуралистов. В Базеле Феликс Платер, который в течение пятидесяти лет оставался хозяином, советником, руководителем натуралистов Германии; в Эльзасе Якоб Теодор Табернемонтанус; во Франкфурте Пётр Камерарий, этот счастливый приобретатель части ботанических богатств Геснера; в Лионе Жак Додонс; в Монбельяре Жан Бауэн; многие другие ещё, особенно среди людей более старых, чем Чезальпино, продолжали следовать старому пути и отвергать всякую идею методической классификации. Так величайшая путаница царит в *Всеобщей истории растений* Додонса и в книге Табернемонтануса, несмотря на две тысячи шестьсот гравюр на дереве, приложенных к труду одного, и две тысячи пятьсот таблиц, присоединённых к труду другого. Все эти несовершенные компиляции должны были, впрочем, стереться перед великолепными публикациями Теодора де Бри, который имел счастливую мысль собрать в одном сборнике рассказы главных путешественников и иллюстрировать их всей типографской роскошью, которую умел придавать своим книгам. Теодор де Бри был вводителем естественной истории в высший свет; его прелестные гравюры заставили её полюбить, и своей поразительной активностью прессов, своим просвещённым выбором изданий он послужил науке больше,

чем Альдрованди своей внушительной, но неудобоваримой компиляцией. По истине, закрывая век, забывая Средневековье, чтобы засвидетельствовать лишь усилия Возрождения, Альдрованди, умирая, переживал себя; ибо он оставлял за собой учеников, Меценатов, публику и важнейшее собрание по естественной истории, какое, быть может, со времён Аристотеля, когда-либо было собрано.

ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ

В Средние века существовала наука, которая господствовала над всеми прочими науками, подобно тому как каноническое право заглушало все прочие законы. Магия, взятая в самом высоком ее значении, соединяла свои тайны с теми, что Священное Искусство только что завещало миру; она наследовала, можно сказать, древним мистериям; она опиралась сначала на реальное знание, но вскоре заблудилась в грезах некоей воображаемой космогонии; затем, роковая власть, которую ей приписывали, породила доверчивое законодательство, расширившее ее могущество всеми тайнами, которые она стремилась постичь, но не смогла понять, и всеми ужасами, которые она испытывала и желала победить. В эпоху Возрождения между дерзкими исследователями сверхъестественного мира и неумолимыми защитниками закона разверзлась страшная борьба; истина не была открыта, а спокойствие не могло воцариться до тех пор, пока, если воспользоваться выражением бессмертного Вико, Любопытство, дочь Невежества, не стало наконец матерью Науки.

Эта совокупность изысканий, которую привыкли обозначать именем оккультных наук, в Средние века еще не получает того названия, которое мы даем ей сегодня. Под этим именем мы, собственно, допускаем различные виды гаданий, во главе которых следует поставить великое искусство толкования сновидений, или Онирокритику, потому что человек с самого начала в собственных иллюзиях искал способ общения с тем таинственным миром, от которого он ожидал верховного откровения. Некромантия, относящаяся ко всем видам магии или колдовства, о которой мы вначале скажем лишь несколько слов, потому что она должна была родиться из зловещих сновидений, следует непосредственно за ней.

Астрология, которая стремилась прочесть на небесном своде судьбы каждой империи и каждого существа, занимает затем первое место и предшествует прочим ветвям прорицательного искусства. Два великих раздела магической науки, Теургия и Гоетия, развернутся во всем своем бесконечном разнообразии, и здесь мы на время привлечем алхимические изыскания, поскольку они связаны с деяниями низших демонов, призванных открывать сокрытые сокровища. Рядом с этими почти вульгарными науками чувствуется таинственное развитие одной науки, достояния ученых, но при этом связанной с самыми народными преданиями; высшая Каббала иудеев не смешает своих разнообразных гениев с нашей феерией; но мы покажем, как элементарные духи поочередно предоставляют свое могущество двум верованиям. Колдовство, являющееся лишь вульгарной магией, и Шабаш, замещающий древние мистерии своими гротескными посвящениями, найдут свое место в беглом обзоре, который мы попытаемся предпринять. Прежде всего, мы желаем доказать, что изучение оккультных наук в их различных ответвлениях выступает как мощное вспомогательное средство для изучения позитивных наук, когда устанавливают их первоначальное происхождение, а впоследствии увлекает их к определенному прогрессу, сообщая им энтузиазм, оживляемый воображением. В самом деле, если мы ограничимся новой эрой, от Плотина и Порфирия до Кардана и Парацельса, то ни один выдающийся человек, способствовавший интеллектуальному движению, ни один дерзкий ум, не пытавшийся совершить какое-либо открытие, не избежали репутации мага, и даже более гибельного звания колдуна, приставших к его имени, и это тревожило его покой, а иногда прерывало плодотворные результаты его изысканий. Все эти усилия зарождающихся наук, как бы ошибочными они ни казались, все эти попытки обманутых, но убежденных умов образуют совокупность, гораздо более внушительную, чем можно предположить, рассматривая ее лишь скептическим взглядом. Поэтому с умом, свободным от всяких предрассудков, мы попытаемся изложить этот почти энциклопедический анализ грез человеческого духа.

Всякая иллюзия имеет свое происхождение, всякая ложная наука имеет свою историю; чтобы понять в целом различные ветви оккультной философии, какой ее рассматривали в

Средние века, следует сказать несколько слов о магии в античности. Если бы мы были обязаны исследовать в их глубине первоисточники, мы попытались бы объяснить, подобно одному немецкому демонографу, магические формулы Вед, дошедшие до наших дней через религию индусов. Еврейская древность могла бы открыть нам свои тайны. Мы попытались бы сказать, кем на самом деле были Хартуммим и Мехассефим; мы последовали бы с Бохаром за египетскими заклинателями в их вызовах; затем, возвращаясь к авторитетам, которые нам, возможно, более знакомы, Диодор Сицилийский поведал бы нам, что народ, самый знаменитый в Азии в культивировании наук, что халдеи, одним словом, почитались в древности сведущими в тайнах, которыми они обладали лучше всех прочих народов, в самой сердцевине Египта, колонией которого они лишь являлись. Будучи внимательнее опрошен, тот же историк открыл бы нам вполне научный характер племени, посвященного, можно сказать, исключительно культивированию магических наук и образующего священную касту, занятую почти исключительно чтением будущего или открытием новых магических формул. Мы увидели бы халдеев, неустанно стремящихся отвратить зло от земли и искать блага, которое, по их мнению, доставляли спасительные заклинания. Очищения, жертвоприношения, изучение магических формул, наблюдение за полетом птиц доказали бы нам, что заклинатели Ассирии предшествовали римским на много веков. После греческого историка Плиний предоставил бы нам драгоценную главу о магии эллинов еще со времен гомеровских, и, если бы было необходимо, многие другие латинские писатели просветили бы нас о мрачных тайнах этрусской магии, переданных прямо, можно сказать, но не без искажений, римлянам. Но если влияние античной и особенно восточной магии на Средние века бесспорно, если даже можно рассматривать людей, посвятивших себя культивированию сокрытых наук, как хранителей драгоценнейших преданий, в то время как они смешивали их с прискорбными заблуждениями, наша цель отнюдь не состоит в том, чтобы рассматривать во всех деталях это воздействие первоначальной оккультной философии. Задача, которую мы себе поставили, не столь сложна и не столь обширна; мы должны удовлетвориться здесь кратким указанием на те изменения, которые столь различные мнения должны были внести в совокупность учения, всегда гонимого и всегда торжествующего.

В тот момент, когда христианство меняет мир, сами оккультные науки претерпевают огромное преобразование. Те дерзкие еретики, которые известны под именами гностиков, валентиниан, василидиан, каинитов, карпократиан, те неверные хранители восточной мудрости, чьи часто неверно истолкованные тайны заставляли трепетать правоверных христиан, столь разнообразные сектанты Гнозиса, представляются в первые века самыми ревностными хранителями магических учений античности, и они налагают на них тогда, надо признать, мистический характер, великолепие которого неоспоримо сочетается с величием новой религии, которую гностики отчасти принимают.

В то время, когда процветал Гнозис, или, точнее сказать, в начале тех страшных битв, которые его уничтожат, появляются двое людей, предназначенных основать для последующих веков (нам простят это выражение) совокупность магических наук: один – это Плотин, другой – его ученик Порфирий. Рожденные на Востоке, но вскормленные чтением древних, эти двое людей, которые не были проникнуты учениями, с которыми боролась нарождающаяся Церковь, поскольку первый был ее противником, также не были свободны от мистического духа, вопрошавшего духов и демонов. Несколько слов об этих новаторах здесь необходимы; следует дать знать об их происхождении и объяснить их прямое воздействие. Плотин, родившийся в Верхнем Египте, в Никополе, около 205 года, может рассматриваться как один из первых демонографов, если не первый, чьи учения повлияли на поздние века, а затем на Средневековье. Ученик Аммония Саккаса, он последовал за императором Гордианом и отправился изучать в самой Персии философию и древние чудесные предания восточных народов. Обосновавшись в Риме при императоре Филиппе, он вскоре распространил свою славу по всей Италии и оттуда – в остальном мире. Именно его ученик Порфирий популяризировал его труды под

названием «Эннеады». Плотин умер в Кампании в 270 году. «Эннеады» (собрание девяти книг) составляют одно из тех необходимых собраний для познания великих преданий. Его ученик Порфирий, прозванный Малх (то есть царь), продливший свою жизнь до 304 или 305 года, был, что касается учений демонографии, действительным посредником между Античностью и Средневековьем. Плотин, истинный философ-платоник, исследовал воздействие демонов на мир, но презирал силы магии, которые могли поразить его тело, но не достигали его души, как он говорил. Ученик кажется менее дерзким, чем учитель. Плотин пытался в своих трудах показать, как демоны вступают в сообщество с людьми. Однако именно земляку Порфирия, Ямвлиху, было предназначено придать, можно сказать, систематическую форму теургии и магии, вспомогательным средствам Священного Искусства. Здесь мы намеренно заимствуем выражения доктора Фердинанда Хёфера, потому что они весьма точно определяют воздействие этого великого популяризатора восточных преданий на интересующую нас эпоху. Ученики Ямвлиха известны: Евнапий, Евстафий, Хризанфий, сам глава Империи, Юлиан, следовали его учениям и распространяли их. Прокл, учившийся в Александрии, но родившийся в Византии в 412 году, должен был вскоре наследовать ему и властвовать над пылкими умами, которые вели великую эпоху, науку и заблуждения которой мы пытаемся одновременно изобразить. С редким счастьем выражения было сказано: если Ямвлих считается давшим физику царства духов, то Прокл дал ее метафизику. (ФЕРДИНАНД ХЁФЕР, История химии.) Ямвлих может быть обвинен в глазах позитивных людей в еще большем преступлении; именно он своими трудами о мистериях Египта наделил магов и чудотворцев их евангелием.

Однако мы не можем скрывать от себя, что, достигнув этой великой эпохи социального обновления, которую только что обозначили, гораздо менее у людей, сколь бы выдающимися они ни были, чем у совокупностей учений, какую бы путаницу они ни представляли, следует искать истоки, из которых складывается обширное целое магических наук. Высказывая столь кратко такое мнение, мы имеем лишь одну цель – точнее выразить одним словом интерес, связанный сначала с изучением каббалы, а позднее, или, можно сказать, одновременно, с изучением Талмуда. Здесь позитивные даты не лишены важности; однако иногда они отсутствуют; но если верно, как полагает один весьма компетентный ученый в такого рода материях, что каббала, которую можно возвести до вавилонского плена, обрела свою форму лишь под влиянием иудейских школ Александрии; если кажется достоверным, что в первой четверти третьего века раввин Иуда собрал предания, составившие Мишну, в то время как Иерусалимская Гемара, образующая часть Талмуда, была завершена, вероятно, во второй половине четвертого века; эти простые хронологические указания, к которым мы вскоре вернемся, достаточны, чтобы обозначить, из какого источника черпали пылкие и любознательные умы, уставшие от догматических учений античности и стремившиеся объяснить чудеса творения прямым влиянием демонов или даже второстепенных разумов, которых они делали своими посланцами. Последователи этой дерзкой науки не отступали перед идеей стать выше духов, которых они вызывали, подобно тем Муни, суровым аскетам индийской теогонии, которые, присваивая себе сверхъестественную власть посредством умерщвления плоти, хвастались, что заставляют небесные силы двигаться по своей воле. Читали ли они или боролись с этими мириадами гениев, обозначаемых именами Амшаспандов, Феруэров, Изедов, Эонов, заимствованными из персидской религии или из Гнозиса, склонялись ли они перед учениями приверженцев каббалы или Талмуда, люди, жившие до тринадцатого века, собирали обильную жатву поэтических идей, исходивших главным образом с Востока, и которые, тайно соединяясь с некоторыми тайнами христианства, составляли, по крайней мере в лучшей своей части, магические учения Средневековья.

Но эта сокрытая работа, чье воздействие было столь медленным, стала тайной для тех самых, кто предавался исследованиям, необходимым для изучения оккультных наук.

Самым ученым скоро недоставало нити в этом лабиринте, и, кроме того, рядом с этим чисто научным движением, рожденным дерзкими спекуляциями некоторых эрудитов, среди населения Европы развился вкус к чудесному, рожденному местными легендами, увлечение страшными вызовами, зловещая надежда на вмешательство демонов христианства, которые вскоре составили некий род народной магии, более активной, более живучей, если можно употребить этот термин, чем оккультная философия, и которая имела свою основу не только в первобытных суевериях Галлии, но также в мрачных тайнах северных мифологий. Она должна была обрести, собственно, более дикую энергию с того дня, когда народы Севера и даже некоторые азиатские народы пришли призывать своих богов на наших землях и произносить свои страшные заклинания в местах, еще недавно одушевленных подчас столь светлыми воспоминаниями о язычестве. Справедливо сказано, говоря об одной из наименее оцененных и наиболее древних книг скандинавской мифологии: «Конец Хавамала – это небольшой трактат о магии, излагающий сверхъестественные эффекты силы рун: там находятся истоки большинства суеверных идей Средневековья; там видны в зародыше те вещи, которые, смешанные позднее с другими идеями, сохраненными преданием античности или пришедшими с Востока, составили колдовство». (Ж. Ж. АМПЕР, Поэзия Севера, в «Ревю де Де Монд».)

В этой столь странной, столь разнообразной, столь неоднородной, можно сказать, смеси суеверных верований и полуфилософских, полурелигиозных учений, не вполне разработанных, собственно феерия должна была по необходимости играть важную роль. Она оказывала на идеи во Франции тем более прямое воздействие, что имела свое происхождение в первобытных мифах, в самых народных легендах страны. В самом деле, если бы мы сегодня имели притязание восстановить во всех деталях мифологию Галлии и Германии, Феи, Эльфы, Сулевы, Кобольды, Дуэргары, Тролли и столь многие другие сверхъестественные существа играли бы там роль, занимали бы место, которые, хотя еще и не вполне определены или достаточно объяснены, тем не менее составляют еще и сегодня чудесный мир, в котором народ ищет свою поэзию, а поэт – воспоминание.

Мы встретим позднее эти непостоянные легионы, хорошо известные каббалистам Средневековья и все еще населяющие наши земли столь многочисленными фантастическими созданиями. Наше намерение, прежде чем завершить это краткое введение, состоит главным образом в том, чтобы указать влияния, преобразования, которые должны были претерпеть оккультные науки и которые привели к различным фазам, отметившим их развитие; для этого нам следует вернуться в ученое движение и вновь оказаться среди тех ученых, которые, устав от подчас бесплодных дискуссий Школы или грез античности, намеревались вновь вопрошать великолепный мир Востока.

Сегодня нет более сомнений: Средневековье, унаследовав разнообразные формулы магии и гадания, принятые халдеями, иудеями, греками и римлянами, оживившись поэтическими верованиями, сохраненными бретонскими певцами или приверженцами Одина, Средневековье соединило эти элементы, вышедшие из столь разных школ, и объединило их с принципами, принесенными арабами в Испанию. Если даже верить некоторым историкам, в одиннадцатом веке на Пиренеях существовали школы, где преподавали науки, предназначенные для познания будущего и посвящения в прочие чудеса сверхъестественного мира. Школа Кордовы была, говорят, самой знаменитой в этом роде, и туда отправился учиться монах Герберт, чья слава распространилась по всему христианскому миру под именем Сильвестра II. Демонографы неизменно вносили этого папу в число тех, кто был обязан своим возвышением таинственному договору, от роковой катастрофы которого вся их власть не могла отвратить, но они также не преминули привести этот столь алчущий знаний ум в среду мавританских школ, среди тех людей, которые умели облекать науки античности чудесами восточной поэзии. Что касается нас, вполне веря в усилия пылкого ума, который шел испрашивать у мусульман того, чего еще не находил у христиан, мы не можем принять утверждение, которое таким обра-

зом произвольно учреждает в Испании публичное преподавание самых грозных наук и которое извлекает из самой тайны, составляющей его высшую силу, учение, по существу сокрытое, чтобы сделать его достоянием всех. Наиболее вероятно то, что в преподавании, каким оно практиковалось тогда у арабов, чудесное вполне естественно смешивалось с самыми абстрактными теориями, даже с самыми позитивными исследованиями. Так родилась у простонародья, и особенно на Севере Европы, мысль, что в мусульманской части полуострова существует школа, где публично преподают искусство вызывать духов или читать будущее. Однако мы имели бы ложное представление об интеллектуальном движении той эпохи, если бы ограничились трудами на Пиренейском полуострове; не следует забывать, что если монах Герберт шел вдохновляться наставлениями Кордовы, то величайший математик-космограф того века, Идриси, пришел испрашивать покровительства у короля Рожера Сицилийского, и его обширные труды, его серебряные диски, чья слава дошла до нас, распространяя определенные астрономические знания, придали видимость науки столь лживым грезам астрологии. Весьма примечательный факт, по существу связанный с нашей темой, состоит в том, что двумя веками позже первым инструментом изучения для проникновения в тайны сокрытых наук был, наряду с латынью, арабский язык. В самом деле, в то время как в первой половине шестнадцатого века Кленару не удавалось найти в Европе профессора, который бы обучил его этому языку; в конце тринадцатого века Джеффри из Уотерфорда, доминиканец, знал арабский достаточно хорошо, чтобы изменить перевод «Тайны тайн» («*Secretum secretorum*» или «*De regimine principum*»). Эта книга, столь произвольно приписываемая Аристотелю и которая, если она оказала реальное влияние на Средневековье, была обязана этим в значительной степени восточным народам, полностью стала достоянием широкой публики лишь благодаря эрудиции христианского монаха. Мы могли бы умножить эти примеры: мы ограничимся фактами, собранными здесь; они достаточны, чтобы направлять мысль в течение этих темных времен и указывать один из путей, которым следовал человеческий дух той эпохи в изучении оккультных наук.

Начиная с периода появления великих средневековых энциклопедий, герметическая философия, судебная астрология, теургия и все прочие ветви магии смешались, можно сказать, несмотря на громы Церкви, с занятиями, покровительствуемыми Школой. Чтобы обрести уверенность в этом факте, достаточно бросить взгляд на прекрасную рукописную книгу, содержащую «Тайны природы», или на ту странную поэму, которую обозначали в тринадцатом веке под названием «Образ мира»; и один из авторов этих поэтических итальянских энциклопедий, столь распространенных в Средние века, Чекко д'Асколи, даже поплатился жизнью за свои каббалистические дерзания и был сожжен в 1327 году на поле Флор в Риме, уличенный в незаконном общении с демонами.

Когда власть не вмешивалась, чтобы остановить эти дерзкие умы, народное мнение, судья, быть может, более неумолимый, клеймило их именем выдающихся магов. Альберт Немецкий, Раймунд Луллий, Роджер Бэкон и столь многие другие, чьи сочинения были знамениты в древности, сегодня предстают в глазах многих людей лишь как несчастные адепты оккультной философии. Один – восхитительный энциклопедист, другой – глубокий философ, последний – возвышенный изобретатель, и о всех трех можно было бы почти сказать то, что Кювье сказал об одном из них: они были велики, но имели недостаток, что слишком далеко опередили свой век.

Один из самых странных фактов, которые можно констатировать в истории магии, – это невероятное развитие, которое внезапно приняли связанные с ней учения в эпоху, когда проявилось реальное совершенствование в занятиях, и вследствие первых усилий нарождающегося книгопечатания. Все тайны тогда раскрываются, и также все битвы начинаются; но если появляются трактаты, подобные сочинениям Кардана, Парацельса, Корнелия Агриппы, то также печатаются «Молот ведьм», книга дель Рио и тот трактат «О непостоянстве демонов», в котором Пьер де Ланкр хвастается, что был более неумолим, чем инквизиция! Дерзкие мыс-

лители, неумолимые судьи, кровавые казни – все это кажется сном для мира грез, как говорит автор «Агасвера». Попытаемся провести мысль читателя сквозь все эти иллюзии.

ОНИРОКРИТИЯ. – В самом себе, в собственных иллюзиях своей природы человек пытался сначала обнаружить сверхъестественного проводника, который должен был вести его в поисках будущего. Египтяне, евреи, греки, как известно, свели искусство толкования сновидений в совокупность учений. Онирокрития, обозначаемая также именем Ониромантии, от греческого *ὄνειρος*, насчитывала в древности многочисленных адептов, и можно сказать, что в этом пункте мистические учения античности передались в Средневековье с тем большей надежностью, что, вопрошая священные книги, находили там вполне естественно право полагаться на этот род оракула, который Церковь не могла абсолютно осудить. В первые века христианства выдающийся ум, поэт, сумевший облечь некоторые учения, заимствованные у Платона, в поистине великолепный язык, Синезий, наконец, осмелился составить трактат «О сновидениях», где античные грезы были, можно сказать, освящены вполне христианской мыслью возвышенного истолкователя святых таинств. Написав этот трактат «О сновидениях», епископ Птолемаидский дал моду этому роду гадания; но этот новый онирокритик зашел весьма далеко в своем учении, поскольку сделал из него науку индивидуального наблюдения и предписал каждому адепту тщательно наблюдать свои ночные иллюзии, чтобы извлекать из них предзнаменования тем более верные, что они будут основываться на большем числе появлений. Согласно Синезию, следовательно, каждый смертный обладает в себе великим искусством читать будущее, учение, весьма отличное от того, которое было выдвинуто одним из знаменитейших Отцов, которыми гордится Церковь. Святой Григорий Нисский, противник Онироскопов, видел в сновидениях лишь преходящее потрясение способностей души, вызванное воспоминанием об эмоциях, которые только что испытали, и он поэтически сравнивал дух человека, взволнованный сновидением, со струной арфы, только что издавшей звук и все еще вибрирующей, когда звук исчез.

Подчиняясь решениям авторитетов, которых уважал, но увлекаемый этой потребностью проникнуть в будущее, которая проявлялась во все эпохи, Средневековье допускало три великих раздела в ониромантии: божественные сновидения, естественные сновидения, сновидения, исходящие от демона. Но если первые принимались как драгоценные предупреждения неба, толкование которых могло быть доверено теологу, истинному врачу души, если вторые ставились в ряд самых невинных эмоций, то третьи внушали слишком много ужаса, чтобы искали их объяснения: к тому же столько трудностей окружало спасительное объяснение божественных предупреждений, что сначала благоразумная осторожность была наложена на тех, кто делался их толкователями; вскоре даже Церковь вооружилась строгостью против сновидений и видела в онирокритии лишь осуждаемую ветвь оккультных наук. Если Схолиаст святого Иоанна Лествичника объявил, что должно пользоваться великой осмотрительностью, чтобы хорошо судить о том, что происходит с нами во сне, и что, поскольку причина сновидений неопределенна, не следует на них никак останавливаться, потому что немногим людям дано хорошо судить о них, то святой Григорий объявил, что ночные видения, вопрошаемые как предзнаменование и образующие ветвь гадания, были отвратительны, и в эпоху, когда, собственно, начинается Средневековье, в первой половине девятого века, шестой собор в Париже положительно осудил искусство гадать по сновидениям как влекущее поистине пагубные результаты и как могущее быть рассмотренным наравне с гибельными учениями язычества. Мы удовлетворимся цитированием этого столь ясного осуждения, которое было, впрочем, чистым выражением Капитулярия Григория II; нам было бы легко накопить здесь авторитеты: не было бы более убедительного. Искусство толкования сновидений для чтения будущего или для открытия сокровищ оттого не менее культивировалось в течение всего Средневековья, и, хотя до Арнольда из Виллановы не знали абсолютно специального трактата по этой важной материи, когда ученый майоркинец дал свой трактат «Об истолковании сновидений» («*Libellus*

de somniorum interpretatione»), свет воссиял для адептов среди этих густых мраков. Арнольд из Виллановы прожил, вероятно, до 1314 года, и следует предположить, что он оказал невероятное влияние на онирокритию Средневековья; но, двумя веками позже, Венеция, издав под названием «Oneirocriticon» апокрифический трактат, приписываемый Артемидору, этого эфесского философа, который жил, как полагают, во времена Антонина Пия, сделала, в действительности, отныне популярным толкователем, онирокритиком по преимуществу, которого консультировали по всей Европе, как только речь шла о толковании сновидений, и он сохранял эту милость далеко за пределами шестнадцатого века. Знаменитая книга Апомазора, «Дворец принца сна» Мирбея, «Догадки» Убальдо Кассины и столь многие другие трактаты онирокритии никогда не обретали, в различные эпохи, невероятную моду, которая пристала к книге Артемидора с 1518 года, точной даты ее первого появления.

Не ожидают, без сомнения, что мы рассмотрим даже кратко различные системы толкования, употреблявшиеся в Средние века; ониромантия не предоставляла тогда, без сомнения, как то имело место в древнем Египте, Артомимов, или назначенных прорицателей, восседавших в королевских советах. Не различали, как у греков, Ониропола от Онироманта, то есть сновидца, толкующего собственные сновидения, от прорицателя, объяснявшего сновидения, которые ему приходили рассказывать; однако были люди, которые, обученные в школе Арнольда из Виллановы, относились к этой последней категории и основывались в своих объяснениях главным образом на принципах античности. Принадлежит ли он времени Антонина Пия или более поздней эпохе, Артемидор не представляется нам сделавшим очень большие усилия, чтобы установить свою онирокритическую теорию на научном основании высокого значения; он действует посредством некоего подобия аналогии, без сомнения, но также иногда его выводы весьма странны. Если кажется вполне естественным, например, что человек, который во сне восхищался красотой своих волос и завитками изящной прически, видит в этом достаточно невинном сновидении предзнаменование процветающего состояния; если беспорядок его волос достаточно указывает другому на несчастный исход какого-либо дела, то представляется более необычным, что венок из цветов, носимый вне их сезона, становится знаком глубокой скорби; не то же самое, правда, когда гирлянда, которой украшают свой лоб, состоит из цветов, появившихся в эпоху, когда сновидение посетило вас. Это, без сомнения, поэтическая формула языка, употреблявшаяся у восточных народов, которая заставляет толковать потерю глаз немедленной потерей детей того, кто видел сон. Правда, что в этой системе глаза относятся к детям, как голова – к отцу семейства; руки – к братьям; ноги – к слугам; правая рука – к матери, сыновьям, друзьям; левая рука – к жене, возлюбленной, дочери. Если бы мы вышли за пределы теорий эфесского толкователя, аналогии были бы, может быть, более отмеченными, они определенно не были бы более разумными. Иероним Кардан, умелый миланский врач, пришел, наконец, привнести свой авторитет, чтобы установить значительность ночных видений и наложить новые законы на их толкователей. Он поставил сначала в принципе, что сновидения, случившиеся летом, предлагают предзнаменования более верные, чем те, что проявляются зимой; он установил затем разделение, вполне рациональное по его мнению, по крайней мере в природе сновидений, согласно часам, когда они становятся предупреждением: до восхода солнца они предвещают будущее; в момент восхода – настоящее; те, что приходят перед закатом светила, возвещают прошлое.

Если хотят, однако, серьезно обратить внимание на влияние, которое Плиний оказывал на все Средневековье, можно предположить, что учение, толковавшее сновидения по противоположности, имело не одного приверженца среди эрудитов той эпохи; оно, кажется, преобладает еще и сегодня и проявляется во многих местах в этой знаменитой книге вульгарной онирокритии, которая озаглавлена «Ключ к сновидениям».

НЕКРОМАНТИЯ. – Из всех способов, употреблявшихся в древности для вопрошания будущего, самый ужасный по своим приготовлениям и самый фантастический по своим

результатам, без спора, тот, что видим обозначенным в античности под именем Некромантии и который мы вновь находим употребляемым во всем Средневековье, поскольку он налагает свое имя на совершенно особый раздел адептов оккультной Науки. Сама этимология слова достаточно свидетельствует о тщетности принципа, который направлял некромантов в их вызовах. Некромантия греков, или искусство вызывать души умерших, культивируется с тем большим рвением в Средние века, что воспоминание о Аэндорской волшебнице во всех воспоминаниях, и что этот пример страшного вызова, взятый из священных книг, свидетельствует о древности этой науки и даже освящает ее в глазах многих людей.

Впрочем, ничто не более разнообразно, чем формулы вызовов, принятые некромантами: иногда достаточно, чтобы призвать души, произнести определенные слова, часто непонятные, подчас гротескные, всегда странные; в других случаях самые кровавые таинства соединяются с самыми высокомерными притязаниями. Такова, среди прочих, эта заклинательная формула, о которой говорит ученый Селден в своем «Трактате о богах Сирии» и которая, действуя посредством Терафима, кажется, продолжила свои отвратительные таинства далеко в Средневековье. Чтобы получить этот оракул, чтобы услышать голос умершего, не будучи испуганным видом призрака, ребенок, обреченный на смерть, должен был отдать свою голову, которая служила для ужасных заклинаний. Эта отделенная голова, поддерживаемая металлическим блюдом, получала на свои обесцвеченные губы пластинку золота. На этой блистательной пластинке были выгравированы неизвестные знаки, подобные, по всей видимости, тем, что были сохранены для нас, благодаря некоторым Абракасам, чудесным талисманам гностиков. В других случаях вопрошатель мертвых довольствовался написанием этих латинских слов: *Vim patior* (Насилию предаюсь). Затем зажигались свечи и окружали эту юную невинную голову, от которой ожидали столь страшных откровений, и, в посвященный час, когда он прислушивался к малейшим шумам в своем зловещем сосредоточении, некромант слышал слабый голос, который должен был направлять живых советами смерти; но этот жалобный шепот скоро затихал и не мог возобновиться, кроме как в часы, посвященные сектантом Гоегии.

При простых вызовах умершие не всегда говорили, и эти немые призраки, которые появлялись лишь на мгновение, чтобы повиноваться неодолимой власти, давали знать о запрошенной тайне жестом или скорбным взглядом, предвещавшим какое-либо несчастье. Иллюзии, вызванные искусством, играли, без сомнения, большую роль в таинствах немой некромантии, продолжавшейся в течение всего Средневековья. В тринадцатом веке были убеждены, что сверхъестественная власть Альберта Великого вызвала для Фридриха Барбароссы душу императрицы Марии. Великолепно убранная, несмотря на свое пребывание у мертвых, облаченная в императорские украшения, она явилась, говорили, своему супругу; и тот не мог быть обманут магической иллюзией, потому что знак, который императрица носила на шее и который не был полностью скрыт украшениями, которыми она была облачена, достаточно свидетельствовал об истинности явления. Не ожидают, без сомнения, что мы перечислим все знаменитые вызовы, многочисленные рассказы о которых приходили устрашать Средневековье; мы удовлетворимся напоминанием, что некромантия возобновляет свои чудеса вплоть до семнадцатого века, то во Франции, то в Англии или Германии, и мы вернемся к этой части прорицательного искусства, когда будем рассматривать Колдовство.

АСТРОЛОГИЯ. – Симон Гулар, сенлисец, говорил, рассуждая об астрологах, в конце шестнадцатого века: «Всегда есть что сказать в прогнозах этих шпионов неба». Но Средневековье разделяло мнение этого сурового мыслителя, как бы то ни было, и если существовала ветвь оккультных наук, которая видела продолжение своих иллюзий от первых веков Церкви до времен Возрождения, то это была, бесспорно, астрология; дошли даже, в эпоху, когда эта мистическая наука приобрела наибольшую милость, до того, чтобы рассматривать небесный свод как огромную книгу, где каждая звезда, получая значение одной из букв еврейского алфавита, говорила неизгладимыми знаками судьбу всех империй. Книга «Неслыханные курьезы» Гаф-

фареля дает нам конфигурацию этих небесных знаков; их находят также у Корнелия Агриппы; но, мы вынуждены это сказать, эти грезы высшей каббалы лишь косвенно связаны с тайнами астрологии.

Среди прорицательных наук, культивировавшихся в Средневековье, не было, бесспорно, ни одной, которая восходила бы к столь же древним истокам, как астрология. Не только мы видим включенными имена Петосириса и Нехепсо среди жрецов Египта, ответственных за объяснение тайн небесного свода, но современные исследователи Фив и Ибсамбула, во главе которых следует назвать Шампольона, обнаружили среди многочисленных иероглифических надписей подлинные гороскопы астрологии, значение которых они смогли передать. Средневековье, как следует легко предположить, оставалось совершенно чуждым порядку исследований, оставшемуся исключительным достоянием самой недавней эрудиции; это даже в лучшем случае, если оно осведомлялось о древних преданиях, которые делают Халдею колыбелью астрологии, а халдеев – первыми наставниками науки, бывшей в почете у всех первобытных народов; его смутные познания на этот счет едва ли шли дальше того, что оно черпало в писаниях иудеев. Сами иудеи, которых нам представляют по справедливости как верных хранителей восточной науки в ту эпоху, иудеи черпали свои принципы из источников, слишком искаженных мистическими суевериями, чтобы можно было узнать в их писаниях чистую передачу античных идей. Чтобы предложить лишь один пример, Симеон Бен-Йохай, которому приписывают знаменитую книгу Зогар, обрел, в их представлении, столь невероятное знание небесных тайн, сформулированных расположением светил, что он мог читать на небесах божественный закон прежде, чем он был установлен, можно сказать, на земном шаре их божественным автором. Бог, говорят они, объяснял однажды несколько предписаний закона на небесах, и Его объяснение было совершенно сходно с объяснением Симеона Бен-Йохая на земле. Легко чувствуется, каково было с самого начала влияние исключительных поклонников такого человека; понимается, как, под властью таких верований, пылкие и одновременно ученые умы могли мощно изменить астрономическую науку, самыми смелыми истолкователями которой они стали. Не забудем, в течение всего Средневековья, как только возникали некоторые сомнения относительно географии или астрономии, во всех Университетах Европы обращались к восточной науке, будь она от иудеев или от арабов. Итак, не будем слишком благодарны к этим людям, которых озаряло несовершенное учение и которыми владело пылкое воображение. Идя, быть может, своими желаниями дальше того, что дано знать человеку, они предохранили от забвения все, что было известно до них, и они сумели просветить даже народы, которые их преследовали. В одиннадцатом веке при дворе Рожера, короля Сицилии, Идриси создавал эти круговые серебряные таблицы, которые ошибочно принимали за небесный глобус и которые долгое время были хранилищами науки того времени (см. РЕНО, предисловие к «Географии» Абульфеды). В тринадцатом мы знаем, с каким рвением Альфонс, прозванный Ученым, окружал себя иудеями, чтобы пользоваться их советами в своих обширных трудах, и мы можем предположить, какую долю в Альфонсинских таблицах должны требовать эти ученые раввины. Для великой эпохи Колумба мы видим еще иудея, фигурирующего при ученом дворе того Жуана II, которого Изабелла Кастильская называла человеком по преимуществу. Магистр Рориго, которому были обязаны усовершенствованиями астролябии, титулуется современными писателями весьма знаменитым, и позволительно предположить, что ничто новое не исполнялось для приращения астрономических наук, без его прямого участия. Смутное чувство истины, плохо определенное, боролось, тем не менее, в течение всего Средневековья с восточными грезами, привитыми на античные грезы. По нашему мнению, следовательно, не малая слава для нашей страны – произвести такого человека, как Никола Орем, в эпоху, когда самый просвещенный монарх Европы давал Бертрану Дюгеклену придворного астролога, чтобы направлять его в стратегических диспозициях.

Орем, как известно, после того как был врачом Карла V и хранителем всех научных изысканий этого монарха, был им наделен епископством Лизьё. Посвященный с ранних лет чтением древних в более здравые идеи, чем те, которые преподавали в его время, он имел не только славу бороться с астрологией, но также составил «Трактат о сфере», который был передан на печать в самый год, когда мир был расширен Колумбом. Тем не менее, пылкая страсть к простым истинам науки отнюдь не была заразительна во времена Николы Орема, и несколькими годами позже человек, знаменитый в астрономических науках, святой епископ, Пьер д'Айльи, одним словом, не боялся извлекать гороскоп Иисуса Христа, устанавливая свои расчеты на правилах, достаточно неопровержимых по его мнению, чтобы величайшее событие, отметившее новую эру, было также тем, в котором астрологическая наука могла менее сомневаться. И однако, пусть читают письма и дневники Христофора Колумба, и увидят, в каком доверии были астрономические и географические мнения этого педантичного мечтателя у величайшего человека, произведенного веком, в котором угасает Средневековье. Более того, непрерывные исследования библиографии, извлекающие в наши дни доказательства стольких истин, едва подозреваемых менее тридцати лет назад, подтверждают еще то, что мы выдвигаем. Экземпляр книги Пьера д'Айльи был только что найден в Архивах Симанкаса; он испещрен заметками, начертанными собственной рукой знаменитого мореплавателя, и все эти заметки свидетельствуют о искренней вере в науку человека, смешавшего полезные исследования со смехотворным богохульством, заимствованным из правил астрологии.

Но в течение Средневековья – и следует всегда иметь в мыслях размышление, которое мы здесь высказываем – наука имела столь шаткое и иногда столь ретроградное движение, что истина, объявленная миру со всем авторитетом, который дает наблюдение, была для него потеряна, и возвращались с пылким рвением к старой ошибке, лишь бы она была освящена, так сказать, мнением древних. Надо сказать, впрочем, не все монархи во Франции окружали себя такими людьми, как Никола Орем или Филластр; не все осведомлялись, как Карл V, об истинной конфигурации небес: будь у них вера в астрологию или презрение к ее грезам. В действительности, и когда не было прямого интереса в такого рода исследованиях, встречали лишь равнодушие. В конце концов, ученый, стремившийся проникнуть в тайны будущего, один заставлял слушать себя и один сохранял некоторые драгоценные воспоминания об учении Птолемея, столь часто призываемом тогда и все же измененном доверчивым духом тех самых, кто его передавал. В Италии, во Франции, в Англии повсюду имелись астрологи по найму, и, как всем известно, дамы двора Екатерины Медичи называли их своими баронами, как называют в Испании вагон человека сильного, человека умного по преимуществу. По нашему мнению, следовательно, потому что сближение двух наименований еще не было сделано (насколько мы знаем, по крайней мере), употребляя первое выражение, великие дамы шестнадцатого века не претендовали на какое-либо дворянское звание по отношению к астрологам; слово свидетельствовало лишь о степени доверия, внушаемого почитаемой наукой, и об искреннем восхищении, которое испытывали к тем, кто ее преподавал. История сохранила нам имена нескольких знаменитых астрологов, и, не говоря о почтенном епископе Луке Гаурике, начертавшем гороскопы городов, верховных понтификов, императоров и королей; не называя Гоклениуса, Жана Пилье, составителя альманахов, и Жана Тибода, лейб-медика Франциска I, мы напомним, что один мечтатель, весьма знаменитый в древности и ставший слишком темным для того, чтобы «Всеобщая биография» упомянула его, что Симон де Фарес, одним словом, был придворным астрологом Карла VIII и оставил длинную историю, все еще рукописную, знаменитых людей, которые, по его мнению, довели до совершенства тщетную науку, которая его занимала. Скажем, мы имеем лишь посредственное мнение о биографической точности Симона де Фареса; и, что касается астрологической науки, мы думаем, что он был весьма далек от Тиберита или того Жана Анджели, который дал «Opus Astrolabii» в 1498. В чем мы уверены, так это в том, что он умел лучше проникать в дух дворов и сообразовываться с ним, чем ему было дано читать

будущее; что заставляет нас высказывать это мнение, так это то, что по поводу некоего Мерландена Португальского, ректора Парижского Университета, персонажа, несомненно, фантастического, он уверяет нас, что выдающийся астролог, здесь обозначенный, был весьма восхвален за то, что заранее предсказал смерть короля Людовика. Вероятно, Мерланден Португальский не был достаточно безрассуден, чтобы адресовать это прекрасное пророчество самому Людовику XI. Мы знаем, сколько присутствия духа требовалось при грозном монархе, когда претендовали читать в светилах будущее, ему уготованное. Каковы бы ни были обстоятельства, неопубликованное и, можно сказать, неизвестное собрание Симона де Фареса – самый полный репертуар, указывающий любознательным адептов астрологической науки. Есть, однако, и даже из самых популярных, которых он не может сделать известными по той простой причине, что они принадлежат, подобно Луке Гаурику и Жану Морену, к шестнадцатому и семнадцатому векам. Таков, среди прочих, знаменитый врач Генриха II, чье имя связано со столькими легендами.

Для народа, во Франции, есть в действительности лишь один астролог, и этот астролог – Мишель де Нотрдам, который родился в маленьком городке Сен-Реми в 1503 году и наполнил первую половину шестнадцатого века шумом своих пророчеств. Не говорите, однако, о Мишеле де Нотрдаме людям из сельской местности и даже городскому простонародью, они вас не поймут: истинное имя пророка, призываемого еще в наши дни, – Нострадамус. Вполне народная репутация провансальского астролога пришла к нему первоначально не от доверия, которое он приобрел бы в низших классах общества. После своих путешествий на юге Европы он был призван в Париж около 1556 года Екатериной Медичи, чей тайный энтузиазм к астрологическим наукам всем известен. Он извлек гороскопы юных принцев, и, как уже было отмечено, он получил позднее выдающуюся честь королевского визита в свое уединение в Сало. Благодаря этому увлечению двора, Мишель де Нотрдам вскоре увидел себя окруженным некоей благоговейной почтительностью, которая проявлялась не раз, говорят, положительными доказательствами щедрости; биографы утверждают, что он получил за один раз, и это когда жил в уединении в Провансе, до двухсот золотых экю, сумма, несомненно, более значительная, чем та, что была пожалована поэту, обретшему славу, какую бы известность он ни приобрел. Итак, сочетая свои функции королевского врача с функциями астролога и под защитой благоприятной судьбы, Мишель де Нотрдам попытался сделать французскую поэзию истолковательницей своих оракулов. Начиная с 1555 года, он видел, как следовали друг за другом несколько изданий своих знаменитых катренов, которые он озаглавил с самого начала: «Астрономические катрены». Мода на эту маленькую книгу нисколько не ослабевала в течение всего шестнадцатого века и продолжалась за пределами следующего. Если верить нескольким современным писаниям, составители альманахов захватили тогда имя Нострадамуса, чтобы украшать им свои вульгарные пророчества, и врач из Салона стал тогда столь же знаменит среди народа, сколь он был славен при дворе. Он представился, как говорит один из его старых биографов, в Сало-де-Кро, в Провансе, в лето от Р. Х. 1566, второго июля, в возрасте шестидесяти двух лет шести месяцев семнадцати дней. Достойный астролог, Мишель де Нотрдам ясно предсказал свою смерть; и наивный писатель, передавший нам его дела и поступки, утверждает, что был свидетелем этого последнего пророчества. Мы воспроизводим собственные выражения этого ревностного почитателя пророка-астролога: «Что время его кончины было ему известно, даже день, даже час, я могу свидетельствовать с истиною. Помня очень хорошо, что в конце июня упомянутого года (1566) он написал собственной рукой, на „Эфемеридах“ Жана Стадия, эти латинские слова: *Nis prope mors est* – то есть: „Здесь близка смерть“ –. И накануне того дня, как он совершил обмен этой жизни на другую, я, долго быв при нем помощником и поздно прощаясь с ним до утра следующего дня, он сказал мне эти слова: „Вы не увидите меня в живых при восходе солнца“». Так окончил жизнь тот, чья надгробная плита восхваляла почти божественное перо, безошибочного истолкователя светил, и, как если бы

восторженный дух, начертавший надпись, боялся для последнего прорицателя Средневековья какого-либо оскорбления, он добавлял:

«О потомки, не касайтесь его праха,
И не завидуйте его покою!»

Старый писатель, которому мы обязаны этими деталями, начертал для нас оживленный портрет того, кого он не боится сравнивать с величайшими умами античности; мы дадим здесь несколько черт этого живого наброска: «Он был ростом немного менее среднего, телом крепким, бодрым и сильным. Он имел лоб большой и открытый, глаза серые, взгляд кроткий, а в гневе как бы пламенеющий».

Нострадамус, столь безошибочный в своих предсказаниях, что они приложимы, по словам его сторонников, даже к великим событиям Нового Света, Нострадамус не сумел предохранить собственного сына от страшной казни, которая должна была завершить его карьеру. Мишель де Нотрдам, прозванный Младшим, также предсказывал, и он, еще при жизни отца, опубликовал «Трактат об астрологии». Пузен стал местом его проживания. Он обитал в этом маленьком городе Виваре в момент, когда тот был осажден королевскими войсками. Астрологическая карта, которую он составил, предвещала гибель города. В тот момент, когда маршал де Сен-Люк проникал в Пузен, честь ремесла взяла верх, без сомнения, над любовью к стране. Нострадамус-младший был застигнут в момент, когда, с горящим факелом в руке, он осуществлял свое пророчество и поджигал город; офицер пустил на него свою лошадь и убил его. Его книга, опубликованная в 1563 году, иногда смешивается с произведениями отца.

Теперь, если любопытно узнать, какую степень доверия питал народный пророк к своему искусству, мы скажем, что он в первую очередь установил большое различие в толковании небесных знамений и того, что он называет знанием отвратительных тайн магии. Он прямо утверждает, что, поскольку астрология есть некое приобщение божественной вечности, следует понимать, что события, которым предстоит случиться, можно пророчествовать посредством ночных и небесных светил, которые естественны, и посредством духа пророчества. По его мнению, его астрономические катрены можно рассматривать как непреходящие прорицания отсюда и до 3797 года.

Жан Леру дал «Ключ к Центуриям» Нострадамуса, а П. Жозеф опубликовал «Жизнь пророка». Мы не говорим здесь о нескольких современных трактатах, изданных на ту же тему. Мы напомним лишь, что у некоторых писателей наивное восхищение эпохи Возрождения сохранилось вплоть до восемнадцатого века и отозвалось даже в наши дни. Варварские стихи астролога из Салона уже были вполне оценены в этом труде: поэтому мы воздержимся говорить о них вновь; но мы скажем, что если они и популяризировали имя своего автора, то весьма далеки от выражения высшей судебной астрологии, какой практиковали Лука Гаурик, Кардан, Руджьери и многие другие.

Объяснив путь развития, которым следовало это ответвление оккультных наук, и указав момент, когда, по нашему мнению, оно достигло своего апогея, мы кратко обозначим некоторые из предписаний, которые оно налагало на своих адептов.

Судебная астрология изначально подчинялась лишь немногим правилам, но эта наука вскоре усложнилась; не то чтобы она взяла за закон следовать за астрономией в ее прогрессе, но, оставаясь неподвижной в некоторых фундаментальных пунктах, она заимствовала у других оккультных наук тысячу деталей, которые усложнили ее операции. Как хорошо сказал один демонограф: «В астрологии на небе знают лишь семь планет и двенадцать созвездий в зодиаке. Каждая часть человеческого тела управляется планетой; мир и империи также находятся под влиянием созвездий. Это влияние распространяется на мельчайшие объекты творения, поскольку псевдо-Трисмегист смог сказать, и мы используем здесь слова старого толкователя: „Цветы для земли – то же, что звезды для неба; нет ни одного среди них, которому звезда не повелела бы расти“». В «Удивительных тайнах» Альберта Великого видно, как Сатурн власт-

вует над жизнью, науками, сооружениями. Честь, желания, богатства, чистота одежд зависят от Юпитера. Марс осуществляет свое влияние на войну, тюрьмы, браки, ненависти. Солнце изливает своими лучами надежду, счастье, прибыль, наследства. Дружбы и любви исходят от Венеры. Меркурий посылает болезни, убытки, долги; он председательствует в торговле и страхе. Луна властвует над ранами, сновидениями, кражами.

Дни, цвета, металлы также подчинены планетам, чьи качества определяют так: Солнце – благодетельно и благоприятно; Сатурн – печален, угрюм, холоден; Юпитер – умерен и добр; Марс – горяч; Венера – плодородна и благосклонна; Меркурий – непостоянен; Луна – меланхолична. Созвездия также имеют свои качества, хорошие или дурные.

Астрологи рассматривают как один из главных секретов своей науки силу солнечных домов. Они произвели первое деление дня на четыре части, отделенные, говорят они, четырьмя угловыми точками, а именно: восходом Солнца, серединой неба, закатом и нижней точкой неба. Эти четыре части, разделенные на двенадцать других, суть то, что называют двенадцатью домами. Что трудно согласовать, так это то, что свойства этих различных домов варьируются в зависимости от народов и авторов. Птолемей и Гелиодор рассматривают их противоположным образом; греки, египтяне, арабы и астрологи Средневековья рассматривают их отнюдь не одинаково.

Когда хотят составить гороскоп, нужно внимательно рассмотреть, какие созвездия и планеты господствуют на небе в точный момент операции, и сочетать следствия, указанные их силами. Три знака одной природы, встреченные на небе, образуют трин-аспект, считающийся благоприятным; секстиль-аспект – посредственный; квадрат-аспект – дурной. Святой Августин, чье мнение оказало столь большое влияние на Средневековье, спрашивает, почему дети, рожденные в один миг и под одними созвездиями, имеют столь различные судьбы. Сегодня можно задать сектантам астрологии много других вопросов, и нет нужды прибегать к мудрости одного из самых почитаемых Отцов, чтобы признать тщетность науки, которая долго смешивала свои грезы с подчас столь же тщетными реальностями политики; но, не забудем, эти шпионы небес, как презрительно называет Симон Гулар астрологов своего времени, эти похитители будущего, как называет их другой, умели внимать таинственным голосам прошлого и похищать для грядущих веков секреты, которыми обогатилась астрономия.

РАЗДЕЛЫ ПРОРИЦАТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. – Античность, бесспорно, завещала Средневековью большинство суеверных практик, посредством которых люди претендовали читать будущее; но можно также утверждать, что многие из этих практик под влиянием более строгих догматов и оторванные от обрядов упраздненного культа не только утратили все свое символическое значение, но вскоре обрели характер ребячества, который, не заставляя их полностью впасть в немилость, по крайней мере скрыл их первоначальное происхождение. Соборы, всегда настороже против древних суеверий, не колебались предавать анафеме ложные верования этого рода, которые извлекали. Многие из тех, что некогда поощрялись, потеряли таким образом свой кредит или совершенно вышли из употребления. Поэтому мы ограничимся здесь перечислением, в рациональном порядке, который они должны сохранять, средств предсказания будущего, используемых в Средневековье, даже когда оно помнило о более древних учениях и не привлекало прямо в своих предсказаниях позитивного действия злых духов. Ничто в христианские века, впрочем, не может сравниться с теми оракулами, к которым торжественно обращались и уважаемыми толкователями культа, почитаемого в античные времена.

Если человек искал истолкователя будущего в собственных сновидениях, видя себя обреченным на мимолетные догадки, всегда рожденные неуловимыми свидетелями, то вскоре он нашел на себе видимые следы божественной воли, которые достаточно было должным образом спросить, чтобы узнать свою судьбу. Восточные народы утверждают, говорят, что изломанные и множественные линии, которые замечают на различных швах человеческих черепов, есть не что иное, как таинственное письмо, которое поведало бы человеку о его различных судьбах,

если бы он обладал искусством расшифровать его. Средневековье видело после Античности символическое письмо такого рода в более или менее выраженных линиях, отмечающих различные изгибы руки. Хиромантия (чья хорошо известная этимология указывает на происхождение от греческих слов *χείρ* и *μαντεία*) находила в древности столь многочисленных адептов, что едва ли можно сравнить с ней в этом отношении какую-либо ветвь прорицательного искусства; не только она в конце концов соединилась с астрологией, но и подразделилась на множество систем, имевших своими истолкователями поистине выдающихся людей.

Множество любознательных умов занимались хиромантией в пятнадцатом и шестнадцатом веках; воспроизводили, словно наперебой, значимые линии, в безошибочной ценности которых, как утверждали, убедились. Руки, отмеченные счастливыми или зловещими знаками, были выгравированы во множестве специальных трактатов или тщательно написаны в прекрасных рукописях. Один исследовательский ум составил точный счет этой хиромантической иконографии и делит ее следующим образом, указывая имена авторов. Бело, ум точный, дает лишь четыре, подобно тому как Жорж Кювье насчитывает лишь три человеческие расы перед бесконечным разнообразием, представляемым современной наукой: Румфилий дает шесть; Компот – восемь; Жан Сирус – двадцать; Индажине – тридцать семь; Тайзнер – сорок; Жан Кимкер – семьдесят; Трикасс – восемьдесят, а Корвеус – сто пятьдесят. В этом беглом перечислении мы уверены, что более одного имени забыто; но его будет достаточно, чтобы понять, до какой степени упорства доходили в своих тщетных изысканиях некоторые умы, впрочем, серьезные.

Существует хиромантия простая и хиромантия астрологическая. Согласно Кардану, миланскому врачу, линии руки и даже линии пальцев имеют прямое отношение к семи планетам астрологов. Хироманты разделены в этом вопросе о том, какую руку – левую или правую – следует подвергать расчету; большинство не колеблется разрешить трудность, заявляя, что линии обеих рук одинаково значимы. Треугольник, образованный этими линиями, приписывается одними Марсу, другими – Меркурию. Мы добавим, согласно превосходному трактату об оккультных науках, что буква А заглавная, образованная и изображенная в части руки, которой управляет Юпитер, есть предвестие богатств; в части Солнца – большого состояния; в части Меркурия – наук; в части Венеры – непостоянства; в части Марса – жестокости; в части Луны – слабости. Маленькие белые отметины, проявляющиеся временным изменением вещества ногтя, имеют реальное значение в глазах проницательного хироманта; Кардан придавал им чрезвычайную важность, и вот как выражается на этот счет писатель, живший более чем за век до него: «После скажу тебе о ногтях, маэстр Обер... Мудрый Аристотель говорит, что ногти белые и чистые, сохраняемые блестящими и румяными, суть знаки весьма хорошего ума. Также хироманты говорят, что ногти вогнутые суть знак обилия денег». (См. любопытную рукопись Национальной библиотеки под номером Supp. franç., 1116.)

Для обоснования легитимности своего учения хироманты опираются на два места из Священного Писания: «Qui in manu omnium hominum signat, ut noverint singuli opera sua» – «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его» (Иов 37:7); и: «Erit quasi signum in manu tua et quasi monumentum ante oculos tuos» – «И будет это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими» (Исх. 13:16). Первая цитата взята из Иова; другую дает нам Исход. Несмотря на эти священные истоки, которые не могут даже служить аргументом древности хиромантии, Церковь довольно рано поставила эту мнимую науку в ряд суеверий, которые она энергично осуждала.

Каковы бы ни были ее происхождение и влияние, которое она оказывала, эта ветвь оккультных наук получила новое распространение с той эпохи, когда богемцы появились на Западе, то есть около 1417 года. Эти люди, пришедшие из Азии и известные под столь многими различными именами, сделали хиромантию, и, как сказали бы сегодня, своим подлинным ремеслом; мнимые египтяне или богемцы, называемые поочередно Zingari, Gypsi, Zigeuner, Gitanos, Ciganos, согласно посещаемым местностям, были народными хиромантами, которых

повсюду консультировали и чьими заинтересованными прорицаниями предпочитали пользоваться. (См. главу БОГЕМЦЫ.)

Как мы уже говорили, прорицательное искусство, в какой бы форме оно ни представало, имело в Средние века характер гораздо менее торжественный, чем в Античности; весьма рано, однако, и в эпоху, приближающуюся к поздним векам, христианские храмы давали некие виды немых оракулов, терпимых, если не дозволенных, и, в начале, строгость христианства не доходила до того, чтобы отказывать великим надеждам или великим раскаяниям в такого рода свете, исходящем из неведомого мира, этих почти божественных указаний, поднимавших удрученное сердце. Были, одним словом, Жребии святых, оракулы, заимствованные из священных книг, которые, начавшись с истоков монархии, продолжались в течение всего Средневековья. Один пример даст читателю понять, как в начале практиковался этот род гадания. В 577 году Мервей, преследуемый своим отцом, жил укрывшись в базилике Святого Мартина. Однажды, когда он пригласил Григория Турского к своему столу и после того, как рассказал о многих преступлениях Хильперика и его мачехи, попросил епископа прочесть ему что-нибудь для наставления его души, Григорий, как он сам рассказывает, открыл книгу Соломона и взял первый стих, который попался ему на глаза; он был таков: «Око, насмехающееся над отцом и пренебрегающее покорностью к матери, выключит вороны долины, и снут его птенцы орлиные». – «Мервей, – добавляет историк, – не понял, и я счел этот стих предостережением Господа». Через несколько дней Мервей, чтобы узнать свою будущую судьбу, положил на гробницу Святого Мартина книги Псалмов, Евангелий и Царств, провел ночь в молитвах, умоляя святого дать ему узнать гласом Божиим, сможет ли он взойти на трон или нет, и продолжал в течение трех дней свои посты и молитвы. Затем он пошел открывать книги одну за другой; повсюду возникали зловещие предзнаменования. Мервей, смущенный, долго плакал, затем вышел из базилики. Жребии в эпоху Возрождения также практиковались посредством поэтов: были жребии гомеровские, жребии вергилиевские; различные комбинации, возникавшие от бросания костей, также указывали на определенные предзнаменования.

После хиромантии и того, что называли жребиями святых, Средневековье усвоило несколько других способов гадания, известных античности, и ввело некоторые другие, свойственные христианству; самые древние были в совершенстве известны в двенадцатом, тринадцатом и четырнадцатом веках. Возрождение, воскрешая забытые шедевры, оживило некоторые ветви античной магии. Толкование различных движений, сообщаемых стихиям, различные комбинации самих этих стихий, несовершенное наблюдение представляемых ими явлений действовали тогда на воображения, как некогда они действовали; только научный принцип был чаще неверно понят и оказался, можно сказать, отброшен. Средневековье имело свою Аэромантию, Гидромантию, Пиромантию и Геомантию. Мы не станем пытаться группировать здесь фантастические сцены, которые воинственная душа наших предков переносила с опустошенной земли среди облаков; мы не опишем ни небесные битвы, ни таинственные охоты, которые создавал среди туч луч заходящего солнца или которые умножали в небесах более смутные отсветы луны. Достаточно открыть книгу, написанную псевдо-Ликостеном о чудесах, чтобы увидеть, насколько распространен был этот род предзнаменований в Средневековье, а также убедиться, что эти страшные великолепия небесных битв не предлагали большого разнообразия: это было, по правде говоря, достоянием невежественной толпы. (См. книгу Теобальда Вольфхарта, известную под названием «*Prodigiorum ac ostentorum chronicon conscriptum, per Conradum Lycosthenem*». Basileæ, 1557, in-folio.) Эрудиция, напротив, пришла на помощь со своими бесчисленными престижами тем, кто претендовал вопрошать воды. Леканомантия, среди прочего, была, собственно говоря, лишь усовершенствованной гидромантией, к которой присоединяли некоторые каббалистические заклинания. В шестнадцатом веке ее еще практиковали турки, которые обучали ей христиан. Пластины золота или серебра, драгоценные камни, отмеченные определенными знаками, должны были погружаться в чашу, наполненную

совершенно чистой водой; затем произносились некие сакральные слова, призывавшие Духа дать свои ответы, и маленький голос исходил со дна сосуда, вода в котором клокотала; но нужен был внимательный слух, чтобы уловить этот погребальный шепот духа, не желавшего быть уличенным во лжи, говорит нам наивный рассказчик. Чувствуется, что Гастромантия, или, если угодно, Энгастримизм, столь часто практикуемый в наши дни, смешивала свои вполне естественные фокусы с фокусами леканомантии. Была, однако, разновидность гидромантии, известная под названием гастромантия, которую описывают Виер и Пойцер, которые, кажется, откладывают здесь первоначальную этимологию или применяют ее к бутылкам с широким туловом, использовавшимся для заклинания. Сосуды, которые должны были открыть будущее, наполнялись прозрачной водой, вокруг них зажигались свечи; юный девичий отрок, беременная женщина произносили заклинание, и демон давал знать свои ответы посредством изображений, которые различали среди отблесков хрусталя.

Дактилиомантия, которую еще столь невинно практикуют, также была разновидностью гидромантии; согласно некоторым авторам, это была собственно гидромантия. Маленький сосуд должен был наполняться водой; затем кольцо подвешивалось на нить. В момент заклинания услужливый Дух давал свой ответ, заставляя стенки сосуда отзываться маленькими ударами, наносимыми кольцом. Дактилиомантия шестнадцатого века кажется ученому Виеру более достойной осуждения, потому что использовалось кольцо, усеянное звездами согласно определенным положениям неба или освященное дьявольскими церемониями. Этот достойный врач герцога Баварского, обычно весьма снисходительный, не имеет достаточно суровых выражений, чтобы квалифицировать дактилиомантию. «Есть несколько тех, кто пользуется этим дьявольским гаданием, которое запрещено, которые, однако, остаются среди христиан, не будучи наказаны». Затем добрый доктор рассказывает историю одного сеньора, который, купив у некоего товарища такое кольцо, чтобы всегда выигрывать в игре, сперва выигрывал, хорошо заплатил за перстень, который ему предлагали, и вскоре увидел, благодаря огромным проигрышам, чего стоило его усеянное звездами кольцо. Он велел его разбить, счастливый, без сомнения, прекратить таким образом всякий договор с Сатаной.

Пиромантия основывалась на столь древних основаниях, что эрудиты обнаруживали ее источники у Гомера. Магические формулы античности совершенно чужды нашему труду; однако мы скажем, что Лебаномантия, или гадание по дыму ладана, практиковалась в Средневековье, и другая разновидность пиромантии долго употреблялась под названием Кефаленомантия. Для совершения этого рода заклинания, также возрожденного из древних времен, жарили ослиную голову на раскаленных углях, произнося определенные слова, и предсказывали, следя взглядом за извилистыми движениями дыма.

Чтобы изложить свойства, приписываемые четырем стихиям, какими их представляют неизменные формулы, принятые в Средневековье, мы должны поместить здесь Геомантию, чья этимология достаточно раскрывает первоначальное происхождение. Это слово, в самом деле, означает, происходя от греческого, собственно искусство гадать по земле. Поспешим сказать: если эта действительно сложная наука была одной из наиболее культивируемых ветвей оккультных наук в интересующую нас эпоху, она имела целью не только простые практики гадания, но благодаря многочисленным, разнообразным, даже трудным расчетам, на которых основывалась, вскоре связалась с самыми утонченными комбинациями высшей каббалы. В действительности, геоманты способствовали не меньшему прогрессу науки, чем астрологи, среди которых многие, впрочем, также практиковали геомантию. «Словарь геомантии», сохранившийся в рукописи в Национальной библиотеке, определяет эту ветвь оккультных наук так: «Геомантия есть соответствие существ интеллектуальных с материальными».

В Средневековье, помимо всех этих видов гадания, были способы чтения будущего, пророческие книги, чуждые астрологии и геомантии, которые мы хотим упомянуть. Ангельское Искусство, которое не всегда осуждала Церковь или, по крайней мере, которое она, казалось,

извиняла, действовало через призывание ангела-хранителя. Заметное Искусство обращалось прямо к Богу и благоприятным разумам; оно, однако, смешивало с этим превосходным принципом преступные суеверия, которые Церковь осуждала. Некоторые демонографы – но какой авторитет у таких мечтателей в глазах критики! – видели в нем явно творение святого Иеронима. «Энхиридион» папы Льва, «Enchiridion Leonis papæ», маленький мануал, занимающий не более дюжины страниц, «Liber mirabilis», приписываемый святому Цезарию, которого не следует смешивать с Цезарием из Эстербаха, демонологом, мощно служили, особенно в шестнадцатом веке, тщетным изысканиям предсказателей событий. Это последнее сочинение, впервые напечатанное в 1522 году, проходит сквозь времена Возрождения, возбуждая восхищение, и сохраняет до наших дней свою причудливую знаменитость. Согласно одному из наших самых знаменитых демонографов, «Mirabilis liber» был написан, когда неудачи, постигшие Валуа, вынудили их прибегнуть к духовенству. (КОЛЛЕН ДЕ ПЛАНСИ, «Инфернальный словарь».) Заметное искусство, происходящее также из книги, знаменитой в демонографии, «Ars notaria», которую опубликовал Жиль Бурден в 1517 году, стало временно объектом совершенно особого изучения со стороны этого знаменитого правоведа, которого считали в его веке хорошим эллинистом. Согласно традиции адептов, заметное искусство было продиктовано Святым Духом. Вынужденные ограничиваться узкими рамками, обязанные начертать широкими штрихами столь замечательное воздействие этих книг, которые теперь вновь извлекают, мы хотим констатировать, что почти все они появлялись в эпоху политического волнения и что довольно грубая уловка довольствовалась наложением на них имен, почитаемых или грозных в Средневековье, чтобы придать кредит их пророчествам. Видели, как в эпоху Возрождения возобновлялось то, что практиковалось в древности, и в другом порядке идей, по поводу таинственных книг Гермеса.

МАГИЯ. – Средневековье допускало два рода магии: Теургию, чье имя указывает на небесное происхождение, и Гоетию, чья этимология представляет ее сначала как источник грозных фокусов и губительных чар. Слово *γοητεία*, которое само происходит от слова *γοής*, чародей, обманщик, применяется особенно к призыванию зловредных гениев. В своем ужасе перед пагубным изучением, которое он рассматривает как язву своего века и человечества, ученый Мартин дель Рио не принимает двух разделений, которые мы только что обозначили согласно большинству демонографов, и не видит допустимым для обозначения магии Средневековья иного термина, кроме гоетии, которую он также называет специальной магией, в подражание современным писателям.

Мистический философ, которого довольно произвольно наделяют в шестнадцатом веке титулом князя магов, Корнелий Агриппа, принимает, он, положительно, это различие между магией дозволенной, можно сказать, и магией справедливо страшимой. Правда, и самые просвещенные критики это признают, что этот пылкий и исследовательский ум с ранних лет впитал учения высшей каббалы и не оставался чужд изучению различных частей Талмуда. Под его пером, в самом деле, определение теургии обретает поистине религиозный характер, отдающий малейшее подозрение в преступном союзе с нечистыми демонами, которых вызывала вульгарная магия. Корнелия Агриппу так жестоко оклеветали, его современники сделали из него даже столь черного адепта колдовства, что хорошо воспроизвести здесь определение искусства, бесспорно священного в глазах того, кто его изучал. Мы воспроизводим его здесь, не меняя ничего в его мистической форме: «Итак, наша душа, сделавшись чистой и обожествленной, воспламененная любовью к Богу, украшенная надеждой, ведомая верой, поставленная на высоту и вершину человеческого духа, привлекает к себе истину, и в божественной истине, как в зеркале вечности, она видит состояние вещей как природных, так и сверхъестественных и божественных, их сущность, их причины и полноту наук, объемлющую все в мгновение; отсюда происходит, что мы, пребывая в этом состоянии чистоты и возвышения, познаем вещи, находящиеся выше природы, и понимаем все, что есть в этом низком мире; и мы познаем не только

вещи настоящие и прошедшие, но еще непрестанно получаем прорицания о том, что должно скоро случиться и что случится лишь долгое время спустя. Более того, не только в науках, искусствах и прорицаниях дух такого качества обретает божественную добродетель, но еще получает чудесную силу во всех вещах, подлежащих изменению через владычество. Оттуда происходит поэтому, что, устроившись в природе, мы иногда господствуем над природой и совершаем операции столь чудесные, столь внезапные, столь высокие, которые заставляют повиноваться манов, поворачивают звезды, принуждают божества и творят стихии; так люди, преданные Богу, возвышенные этими тремя богословскими добродетелями, повелевают стихиями, отвращают бури, вызывают ветры, заставляют облака таять в дождь, исцеляют болезни, воскрешают мертвых». (ГЕНРИХ КОРНЕЛИЙ АГРИППА, «Оккультная философия», пер. с лат. А. Левассёром, т. II, с. 19.) Вот, следовательно, учение теургистов ясно сформулированное, изложенное без обиняков, и изложено оно здесь человеком, умершим около 1535 года, которого эпоха Возрождения приветствовала титулом Выдающийся маг; но горе тому, кто, желая действовать силой чистой и единственной религии, не стал всецело духовным и природы разумов!.. Агриппа Неттестеймский утверждает это самыми положительными выражениями. Всякий, кто приблизится, не будучи очищен, привлечет на себя свое осуждение и будет предан, чтобы быть преданным злему духу.

Конечно, это весьма пространное изложение силы, обретенной магом-теургистом, далеко не лишено величия; оно даже возвращает нас к античным временам, когда маги Халдеи наложили свое имя на первобытную науку. Но что за важность! оно не должно никого обманывать, говорят нам демонографы, призванные в шестнадцатом веке бороться с учением, столь исполненным дерзости. «Вся эта чудотворная магия есть не что иная, как черная!» – восклицает один из них; и первым, кто наделил бы ею человечество, был бы или Меркурий, или Завулон, под именем которого святой Киприан вместе с другими Отцами открывает имя Демона. «Эта пагубная наука, – продолжает он, – была бы распространена неким Варнавой Киприотом, которого злонамеренно смешали с апостолом, соучеником святого Павла и двоюродным братом святого Марка. Для распространения своих губительных учений он пользовался бы книгами, приписываемыми Адаму, Авелю, Еноху, Аврааму: Ибо, подпирая свою нечестивость величайшим богохульством, они осмелились сказать, что содержание таковых книг было оставлено частью Разиелем, ангелом-хранителем Адама, частью открыто ангелом Рафаилом, вождем и проводником Товии».

Это было бы, понимаете, богатым открытием для адептов оккультных наук – обнаружение библиотеки, содержащей эти чудесные книги, одни заглавия которых составили бы сегодня фантастическую библиографию, чью протяженность никто не может измерить. Григорий XIII чувствовал это так хорошо, что послал, говорят, в Абиссинию ученых Антонио Брие и Лаврентия из Кремоны с миссией исследовать в Амахра библиотеку монастыря Святого Креста, основанную некогда царицей Савской, когда она посетила Соломона; библиотеку, богатую десятью миллионами ста тысяч томов, все написанных на прекрасном пергаменте, и среди которых насчитывалось несколько сочинений, данных Мудрецом мудрецов.

Коллекция эфиопского монастыря содержала все, что могло грезить, в своей ненасытной жажде знания, самый восторженный из адептов магии теургической. Нам не говорят, что там сохраняли книгу Адама, о которой, впрочем, сведения не отсутствуют; но утверждают, что там видели книги Еноха о Стихиях и те, что Авраам составил о философии в долине Мамре, когда учил преданных людей, чье мужество помогло ему победить врагов Лота. Новинки этой коллекции, честь страны Амара, принадлежали Ездру или Мемимелеку, сыну царицы Савской, когда не были самой царицей Савской. Сивиллины трактаты там едва замечали, настолько древность других книг лишала их авторитета. Если нашелся папа-реформатор наук, чтобы верить в такие чудеса, то был и знаменитый ученый, чтобы одобрить его, поскольку ученый Кирхер верил в них. Что могли делать в этом случае сектанты теургии? Они время от времени

воскрешали некоторые из этих прекрасных трактатов, и оккультное искусство, по их мнению, бесконечно возрастало. Эта смесь фантастической науки и нелепости питала теоретическую магию Средневековья.

Но рядом с этими мистическими мечтателями, опирающимися лишь на предания, были неутомимые наблюдатели, подлинные экспериментаторы, которые основывались на опыте, и те тоже были встречены проклятым титулом магов. Эти люди были, в действительности, честью Средневековья, и современная критика сочла должным их реабилитировать; скажем несколько слов о самых знаменитых, в этом есть одновременно справедливость и необходимость.

Мы не будем, тем не менее, говорить здесь о древних демонологах, таких как Плотин и Порфирий, чье воздействие на оккультные науки мы уже отметили. Мы даже не извлечем грозные имена Аполлония Тианского и Симона-волхва: один, дерзкий противник нового учения, осмеливается сравнивать себя с Христом и, хранитель тайн, которые он изучал на Востоке, хвалится обладанием сверхъестественной властью; другой, еретик, самаритянин, ученик чудотворца Досифея, прославляется титулом пророка и наполняет Рим в первом веке нашей эры шумом своих чудес. Но первый есть, в действительности, философ-пифагореец, и мы отсылаем к Филострату для изучения чудес, которые ему приписывают; второй не оставил весьма положительного воспоминания о своих учениях или чудесах и представляется нам с его Еленой Тирской неким шарлатаном, чьи фокусы навсегда скроет время, какими бы разнообразными, какими бы невероятными их ни представляют. Мы быстро пройдем над поздними веками; едва назовем Бозция и чудесных мух, которые он сконструировал с достаточным искусством, чтобы заслужить титул мага; мы приведем самое большее, и для памяти, историю, ставшую почти популярной, согласно которой научная магия открыла бы уже в девятом веке аэростаты (см. рукопись, содержащую историю епископа Агобарда в Лионе). Мы спешим прийти к той эпохе, когда по-настоящему начинается Средневековье и где господствует своим научным духом Абу-Муса-Джафар аль-Суфи, которого герметические философы знают лучше под именем Гебер или Йебер. Этот выдающийся человек, которого иногда украшают титулом короля и которого Роджер Бэкон называет Учителем учителей, *Magister magistrorum*, никогда не имел достаточно точного биографа, чтобы даже знать, в какую эпоху он жил. Араб по происхождению, согласно общепринятому мнению, или, если верить Льву Африканскому, грек, обращенный в ислам, он был бы также, по мнению одних, персом из города Тус, или даже королем некой области Индии. Что кажется более вероятным, так это то, что он жил в начале девятого века. Разес, Авиценна, Калид цитируют его как своего учителя. Король Гебер, чтобы употребить язык адептов герметической философии, король Гебер наделил науку пятьюстами томов; но позволительно, однако, отнести к числу чудес, которые находят некоторых неверующих, эту чудесную плодотворность; автор «Суммы совершенства магистерия» от этого не перестает быть научным руководителем своего времени. Это было, без всякого сомнения, учение этого хранителя восточных наук, которое изучал маг по преимуществу одиннадцатого века. Когда монах Герберт, более известный под именем Сильвестра, отправился в Кордову посвящаться в разнообразные познания, распространяемые арабами, он почерпнул в наставлениях Джафара аль-Суфи множество драгоценных тайн, которые позднее, как утверждали, были открыты ему демоном и которые поставили его, согласно легенде, на папский престол в 999 году. Сильвестр II, который, независимо от физических и математических наук, знал греческий, латынь и арабский, имел славу, как говорит автор шестнадцатого века, самого бесстыдного мага, который обманул католический мир. Современная наука прославляет его сегодня за то, что он сделал общедоступной систему счисления, неправильно приписываемую арабам. Тем не менее, если этот выдающийся понтифик полностью реабилитирован в глазах ученых, народная традиция хочет, чтобы именно среди мусульман Кордовы он продал свою душу дьяволу; и Ордерик Виталис, живший самое большее семьдесят лет после него, доходит до изучения сивиллиных оракулов, чтобы объяснить невероятную карьеру, не имевшую прецедента во французском духовенстве.

Уильям Мальмсберийский знает точно, он, причину стольких фокусов, совершенных навеки проклятым папой. У Герберта была книга, дававшая ему верховное командование над иерархией демонов: таинственная голова давала для него свои прорицания; никакие сокровища не могли быть скрыты от него, будь то в центре земли; но в день, когда он умер, 12 апреля 1003 года, сам Сатана пришел потребовать долг, уже оплаченный столькой властью. Поэтому, когда в Средние века должен был умереть папа, кости Сильвестра II не переставали сталкиваться. Книга остроумного Нодэ дает, впрочем, по этому пункту все желаемые разъяснения. Было не менее четырех пап, несправедливо обвиненных в преподавании черной магии; и даже папесса Иоанна, фантастической знаменитости, не избегает обвинения.

Когда легенда не может напасть на верховного понтифика, это какой-нибудь благочестивый архиепископ, честь своего времени, кого она поражает преступлением магии; и, странная аномалия, это обвинение – единственная вещь, которая спасает великое имя от забвения. Кто вспомнил бы сегодня поистине энциклопедическую науку Альберта, епископа Регенсбургского, и двадцать один ин-фолио, которые она породила, если бы Альберт, в умах народа, не остался магом? Но народ не знает Альберта Великого или Немецкого, Альберта Регенсбургского, славу Средневековья; он знает великого и малого Альберта, о которых никогда не говорит без ужаса; однако об этом непризнанном гении современный ученый мог сказать: «Альберт Великий соединял самую обширную науку с чистейшей добродетелью; это один из прекраснейших характеров, которые история имеет нам предложить». (ФЕРДИНАНД ХЁФЕР, «История химии», т. I, с. 359.) – Родившись в Лауингене на Дунае в 1193 году, Альберт вступил в орден доминиканцев и вскоре приобрел титул *magister*, что действительно выражало в ту эпоху ранг учителя по преимуществу. Кёльн, Рим и Париж отзывались эхом его наставлений; Александр IV назначил его на епископство Регенсбургское: он, презрел все эти почести, чтобы предаться в уединении совокупности своих обширных исследований, которые должны были столь способствовать изгнанию из мира тщетных спекуляций магии. Титул выдающегося мага остался за ним, однако, и потомство осквернило его память смехотворными «Тайнами великого Альберта», которые еще читают в наших деревнях. Детские вызовы, содержащиеся в «Малом Альберте», не могут хронологически восходить до времени, которым мы занимаемся.

После епископа, любимца королей, которого можно было бы также назвать оклеветанным наукой, приходит смиренный монах, который будет ждать, выйдя из темницы и в своей забытой могиле, реабилитации веков. Брат Роджер Бэкон, маг, приветствуется Жоржем Кювье титулом человека гения. Слава же его праху! Но посмотрите, сколько реальных чудес нужно, чтобы погасить тщетные чудеса оккультного искусства. Откройте ученого Виера, самого умеренного из демонографов, и вы увидите, как он помещает среди людей, одержимых отвратительными и дьявольскими искусствами и смешавшихся с шарлатанством магии, старого английского монаха. Тот, кто великий человек спустя пятьсот лет изучения, всего лишь колдун два века после своей смерти. Это была бы восхитительная биография – биография брата Роджера; ибо брат Роджер – ученый изобретатель Средневековья, как его тезка Фрэнсис Бэкон станет энциклопедистом по преимуществу Возрождения. Но чудесные учения разворачиваются, факты теснятся, и место нам недостает. Поэтому мы впишем здесь лишь несколько дат и удовлетворимся воспроизведением некоторых обстоятельств, слишком примечательных, чтобы быть опущенными.

Родившись в 1214 году в Илчестере, в графстве Сомерсет, Роджер Бэкон учится сначала в Оксфорде; затем приезжает получить титул доктора теологии в старом Парижском Университете, научной матери народов, еще более чем старшей дочерью королей. Получив свои степени, Роджер Бэкон становится смиренно бедным монахом ордена Братьев Меньших; затем он живет некоторое время в Англии, и живет под покровительством того Роберта Линкольнского, которого потомство вскоре тоже предаст анафеме позорного титула мага. Но посмотрите, несколько лет спустя, в Париже и в 1240 году, этого бедного францисканца, который

уже осведомился обо всем, что могла открыть наука иудеев и арабов; посмотрите на этого монаха, который экспериментирует и осмеливается состязаться с Аристотелем: это брат Роджер, которого уже называют доктором восхитительным; это неутомимый химик, проницательный натуралист, искусный математик, который отвергает учения античности, чтобы создать свое; это, одним словом, маг тринадцатого века, уже слишком далекий от своих современников, чтобы они сочли его науку добротной. На три века слишком рано он заметил ошибки юлианского календаря; слишком рано также открыл теорию и практику телескопа; тысячу раз слишком рано составил свой «Opus Majus». Но Климент IV, бывший секретарь святого Людовика, живет тогда, и брат Роджер не будет гоним. Дайте умереть благородному понтифику, дайте действовать Иерониму д'Асколи, генералу францисканцев, и, хотя брат Роджер написал трактат о «Ничтожестве магии», он пойдет в темницу и увидит свои писания осужденными. Этот плен, часто суровый, продлится десять лет; затем, когда он вновь обретет свободу, когда, вернувшись в Англию, увидит себя на пороге смерти, бедный францисканец, состарившийся пребыванием в тюрьме, ослабленный печалью, скажет этому миру, который он пытался просветить: «Я раскаиваюсь, я слишком любил науку». Эти слова были, говорят, произнесены в Оксфорде в 1292 году; и брат Роджер умер, объявленный своим веком позорным магом. Но на что жаловался брат Роджер? он избежал гибели на костре, как многие другие его современники.

Середина тринадцатого века увидела рождение Пьетро д'Апоно, которого мы знаем во Франции под искаженным именем Пьера д'Апоне или д'Абоно. Искусный врач, знаменитый в Падуе, проницательный астроном, умелый философ, он вскоре стал считаться величайшим магом Италии и остальной Европы. Согласно народной вере, Габриэль Нодэ говорит нам по крайней мере, думали, что «он приобрел познание семи свободных искусств посредством семи духов-фамильяров, которых держал заключенными в хрустале». Подобно Агасферу легенды, «он имел искусство заставлять возвращаться в свой кошелек деньги, которые он потратил». Общий слух заглушил восхищение, которое имели для его науки. Публично обвиненный в магии, он был брошен в темницу, и, подобно бессмертному Роджеру Бэкону, мог проклинать час, когда наука стала его единственной любовью. Он не умер, однако, на костре: он скончался восьмидесяти лет в своей тесной тюрьме. Поскольку нужно было страшное зрелище там, где зачали безумные ужасы, народ Падуи видел, как отдавали пламени изображение грозного человека, которого наука сегодня реабилитирует. Это событие произошло, согласно Нодэ, в 1305 году; «Биография» относит его к 1316 году. Пьетро д'Апоно сегодня слишком мало известен в мартирологе, откуда мы извлекаем здесь несколько имен. Надо сказать, однако, что, если он действительно автор того «Гептамерона», который находится в конце тома I сочинений Агриппы; что если он написал сочинение, которое Тритемий называет «*Elucidarium necromanticum*», он оставляет некоторые оправдания инквизиторам четырнадцатого века; его магические верования, считавшиеся искренними, были, впрочем, отрицаемы, до замены их абсолютным неверием. Страстный поклонник ученых арабов, чьи учения он воспроизвел на латыни, обласканный несколькими верховными понтификами, чьим другом он стал, Пьер д'Апоно должен был возбудить против себя все ненависти, все виды зависти; он смело продолжал карьеру, которую наметил, не заботясь о криках невежества; но вероятно, что он был хорошо осужден Баттистой Мантуанским, который обвиняет его в безумной гордыне. Век, в который он жил, наказал в нем дерзость, слишком безрассудную; позднее ему воздвигли статуи.

Пиренейский полуостров, Англия и Германия предлагают в своих анналах имена, некогда столь же знаменитые, столь же забытые сегодня. Мы не будем говорить здесь о Фаусте, которого гений поэта обессмертил; мы умолчим даже об этом Пикатриксе, испанском маге, который связан со столькими легендами и о котором, помимо трудов Альфонса Мудрого, так мало сведений. Но, чтобы ограничиться магами, имеющими некую общность происхождения с нашей страной, мы приведем Томаса из Эрсильдуна, Майкла Скотта и лорда Сулиса, которые

наполнили Шотландию своими чудесами незадолго до эпохи, когда жил Данте. Поэт поместил второго в аду, и, судя по деяниям, которые ему приписывают, лорд Сулис заслужил трагический конец, который низверг его в вечную бездну. Джеймс Джодок, чье зловерное искусство дошло до того, чтобы заключить демона в кольцо; Каннингем, более известный под именем доктора Фиана, которого пытали перед королем Яковом за то, что вызвал ужасную бурю, в которой этот монарх чуть не погиб; еще многие другие маги, покровительствуемые в шестнадцатом веке леди Мак-Алзин, доказывают, что наши соседи были не менее немцев и итальянцев преданы гибельным чарам, которые пугали всю Европу. Все эти имена стираются, однако (если речь об английской демонографии) перед именем доктора Ди, который прошел, тем не менее, почти весь шестнадцатый век под защитой гонений, благодаря высокой милости Елизаветы. Астролог, некромант, Дж. Ди продолжил изучение оккультных наук в своей семье, и его сын, ставший врачом Карла I, был впоследствии знаменитым алхимиком (см. Ч. МАККЕЙ, «Memoirs of extraordinary popular delusions, etc.» Lond., 1842, in-8°). Замечательная вещь, за исключением папы Герберта, которого наука восхищается, и Гофриди, которого она жалеет, Франция не имеет ни одного из этих грозных людей, мы сказали бы почти уважаемых, которых обозначают именем магов. Среди двенадцатисот колдунов, отмеченных в шестнадцатом веке в списке слишком знаменитого Труа-Эшеля, нет, быть может, ни одного адепта оккультных наук, который заслуживал бы такой чести. Надо сказать также, рядом с учеными, столь странно квалифицированными; наблюдателями качества, как говорит Данте, когда называет великих натуралистов, были в Средние века и в эпоху Возрождения энтузиасты, всегда обманутые, жертвы собственных иллюзий, маги, сами хвастающиеся непосредственным контактом с демонами, чью иерархию они знали и чью перепись предоставляли. Эти официальные маги, если можно употребить такое выражение, сильно запутывали вопрос и живо раздражали Церковь. Против них писали брат Роджер Бэкон и столь многие другие серьезные умы; но простонародье, несомненно, не отличало их от выдающихся людей, занимавшихся совершенно иным порядком чудес. Самое странное смешение всех учений, самое причудливое смешение практик, высоко осужденных, соединение поистине отвратительных суеверий, всегда отвергаемых соборами, составляли весьма странную совокупность этой мнимой оккультной философии, насчитывавшей тысячи адептов.

Современные хронисты сохранили нам имена нескольких одиозных персонажей, которых Средневековье поочередно относило к категории магов, чародеев и колдунов, но чья память, грозная для населения, угасла с их казнью; тогда как память чародеев-теоретиков, если можно употребить этот термин, продолжилась с их писаниями. Таков этот Жак Дюло, живший при Филиппе Красивом и который, увидев свою жену на костре, убил себя в тюрьме; таков еще более вульгарный колдун, которого называли Павио Заклинатель и которого также сожгли по окончании процесса несчастного Мариньи; таков был обладатель «Симогорода», каббалистической книги, чье восточное обозначение явно искажено и которая, будучи данной Богом отцу рода человеческого, чтобы утешить его в смерти Авеля, должна была обязательно исцелить безумие Карла VI. Жан де Бар, слуга герцога Бургундского, сожжен в конце того же века как некромант и призыватель дьявола, и изыщество, которое замечали в его особе (его называли прекрасным клириком), не может спасти его от казни. Отвратительный Жиль де Лаваль, которого знают лучше под именем маршала де Ре и из которого сделали грозный тип легенды о Синей Бороде, не может быть точно причислен к магам пятнадцатого века; но он участвовал в своей кровавой моноμανии в их самых отвратительных практиках, и флорентинец Прелати, ученый химик, искусный чародей, предоставил ему ресурсы своего пагубного искусства. Кто мог бы рассказать ужасные сцены, происходившие тогда в замках Машкуль и Шантосе? Кто мог бы припомнить те заклинания, где таинства религии смешивались с самыми ужасными святотатствами? Кто мог бы изобразить те жертвоприношения детей, совершаемые в отвратительном бреде? После маршала де Ре, сожженного заживо 25 октября 1440 года, магистр Гийом

Эделин, доктор теологии, приор Сен-Жермен-де-Пре, кажется почти невинным, когда призывает силы inferнального мира; ибо он стремится, он, лишь к любви некоей дамы-рыцаря, над чьей почти сверхчеловеческой властью вся его магическая наука не смогла дать ему превосходства. Его казнь также более мягка; Монстреле признает нам, что он был приговорен лишь к посту в темнице, и даже начал стонать и сожалеть о своем проступке. Что делала в это время его очаровательница? Хронист умалчивает об этом пункте.

Оккультные науки, в Средние века и особенно в эпоху Возрождения, культивировались, следовательно, двумя классами людей, весьма различных: одни были просто учеными, которых часто обманывало их дерзкое увлечение; другие – страстными преступниками, которые искали в этих безумных грезах преступное удовлетворение ненасытным желаниям. Была бы заметная несправедливость причислить к одному классу столь различных людей! Более того. В эпоху Возрождения свет пришел именно от пылких, но обманутых умов, которые смешивали с вполне реальной наукой своей эпохи несколько ослепительных проблесков сверхъестественных наук, культивируемых в иные времена. Корнелий Агриппа из Неттесгейма, врач Луизы Савойской, был из их числа. Родившись в Кёльне в 1486 году, умерший в 1534, его короткая и ученая жизнь была ярким примером того, что может любовь к науке, борющаяся с бреднями мистицизма и часто остающаяся победительницей. В глазах просвещенных людей Агриппа – потомок самых чистых гностиков; в глазах простонародья – истинный прислужник Сатаны: и, когда этот ученый врач кончает жалко свои дни в больнице Гренобля, две собаки, разделившие его нищету, становятся для народа двумя злыми духами, которые, радуясь смерти гордеца, бросаются, воя, в воды. Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, прозванный Парацельсом, которому обязаны столькими драгоценными химическими открытиями, умирает в свою очередь в больнице; и демон, которого он сумел заключить в наверхие своей шпаги, не может защитить его от страшного конца, который ожидает также ученого Альдрованди, самого твердого ума своего времени.

Среди людей, которые более всего способствовали рассеиванию престижа оккультных наук и которые, однако, культивировали их с рвением, чье упорство, без сомнения, странно контрастирует с вполне позитивной целью, которую они себе ставили, есть один, которого современная наука, возможно, слишком пренебрегла. Кардан, насильно извлеченный из чрева матери в 1501 году в Павии, дал десять томов ин-фолио; и это собрание, говорит г-н Либри, содержит лишь половину того, что он написал: философия, физика, медицина, математика, астрономия, естественная история – ничто не ускользнуло от него; он культивировал все науки и все усовершенствовал. Он один осмелился полностью сбросить иго и объявил войну всей античности. Телезио и Патрици лишь атаковали Аристотеля под знаменем Парменида и Платона. Кардан отверг всякий авторитет и хотел лишь собственный разум в качестве проводника. («История математических наук в Италии», кн. III, с. 169.) – Этот смелый реформатор, которого ничто не останавливало, верил, что может получить с небес все, чего желал. 1 апреля, в восемь часов утра, Иероним Кардан пополняет некий род мартиролога, данный нам Нодэ: он оказывается в числе великих людей, несправедливо обвиненных в магии. Повторить здесь ложные чудеса, которые им приписывают под влиянием демонов; тщательно записать столь разнообразные деяния, которые они обязаны черной магии, или гибельные и обманчивые договоры, заключенные со злым духом; изложить, одним словом, целую систему демонологии и не оставить ни единого уголка мистического Пандемониума, не внося туда свет, – это значило бы сделать больше, чем сделали сами старые демонографы. Есть лишь один факт, который мы констатируем, – это то, что маг, весьма хорошо определенный Средневековьем, существенно отличается от колдуна. Гордыня – его верховный грех; тщетная наука – его первая потребность; и не неуместно заметить здесь, что гордыня истинного мага дошла в эпоху Возрождения до того, чтобы приравнять его к Творцу. Парацельс, которого мы не смешаем, однако, с приверженцами собственно гоетии, Парацельс хвастался в шестнадцатом веке, что достаточно могу-

шествен, чтобы составить маленьких людей, гомункулов, которых его архей приходил одушевлять и которые разделяли с созданиями, вышедшими из рук Бога, способность действовать и мыслить. Подобный Йалдабаофу василидиан, этот новый творец, столь дерзкий в своих мечтаниях, не ждал, без сомнения, для того чтобы эти души были бессмертными, лишь луча божественной мудрости, которую он надеялся наконец завоевать.

Более наивные, однако, чем этот новый Прометей, маги собственно Средневековья, когда не были действительно просвещенными учеными, не колебались ни мгновения, чтобы умолять о помощи Сатану и сразиться с ним. Формулы заклинания, или скорее договора, бесчисленны. Мы не будем пытаться анализировать их; но мы напомним, что Мартин дель Рио, демонограф по преимуществу шестнадцатого века, рассматривает их прямо как основу всех операций черной магии. «Договор, – говорит он, – который маги заключают с демоном, есть единственная опора, на которой утверждены все магические операции; так что всякий раз, когда магу угодно сделать что-либо посредством своего искусства, он обязан явно или же неявно молить демона, чтобы, согласно соглашению, заключенному между ними, он вмешался и действовал тайно в оной». (См. «Споры и исследования магические», кн. II, с. 119.) – Мартин дель Рио, который не игнорирует ни одной из уловок Сатаны и может соперничать хитростью с Бегемотом, Мартин дель Рио говорит нам затем, как заключается этот договор, который обязывает, в конечном счете, лишь человека. Этот роковой договор, в котором сын Адама всегда обманут, может заключаться тремя способами, ибо больше порядка, чем предполагают, в этой inferнальной дипломатии, где Сатана играет первую роль. Первый «предполагает различные церемонии и требует, чтобы демон появился видимо под некоей телесной формой для получения обещанного ему почтения». Мы имеем яркий пример этого союза в Цезарии из Эстербаха, которого надо очень остерегаться смешивать со святым Цезарием и который есть автор «*Mirabilis liber*».

Второй договор может заключаться «письменным прощением». Дель Рио говорит нам это по крайней мере, а Креспе доказывает это в своей книге «Ненависть Сатаны».

Третий совершается «посредством лейтенанта или викария, когда тот, кто заключает договор, боится взгляда или разговора с демоном». По мнению демонографа, которого мы здесь цитируем, весьма напрасно ученый Грилландус, который, однако, не непогрешим, называет его «договором молчаливым»; ибо, хотя исповедание делается другому, а не демону, оно делается, однако, явно и во имя демона.

Мартин дель Рио, столь осведомленный о сатанинском протоколе, говорит также в самых подробностях, к чему обязываются маги. Позволим ему говорить еще: «Все эти роды договоров имеют много общих между собой вещей: первая – отречься от веры и христианства, сделать крах и банкротство в повиновении Богу, отвергнуть покровительство и патронат святой Девы и изрыгать оскорбления и богохульства против ее чистоты; вторая – быть ложно омытым демоном новым родом крещения; третья – отречься от своих прежних имен, чтобы взять другие новые; четвертая – отречься от своих прежних крестных отцов и матерей как крещения, так и конфирмации, и получить других на смену у дьявола; пятая – дать ему некоторые куски или обрывки собственной своей одежды; шестая – принести ему клятву верности на круге (*serpe*), который он делает на земле; седьмая – молить его, чтобы он стер их из книги жизни, чтобы вписать их имена в книгу смерти; восьмая – обещать ему жертвоприношения, то есть умертвить в некое время какого-либо человека, женщину или маленького ребенка». Мы остановимся; обвинительные статьи имеют непомерную длину, и мы намеренно не хотим удаляться от грозного круга, о котором нам говорил демонограф. Магический круг, как он его называет, играет большую роль в страшном заклинании, предшествующем торжественному договору. Со времен Вергилия, выдающегося мага, до Пьера де Во, дерзкого чародея, не было, в самом деле, действительного заклинания без магического круга, без вербены, без мужского ладана, без зажженных свечей. Почти всегда магических кругов бывает три; и нужно также произнести три заклятия, бросая соль в первый круг. Автор этого сообщения имеет перед глазами договор,

заклученный с Мальдешасом, господином трех тысяч духов, в котором обманутый маг хватается, что привлек в середину своих заклинаний свинью, скот нечистый, которого он трижды нагрузил своими проклятиями и которого связал в первом каббалистическом круге посредством столи, чтобы служить вместилищем злого духа. Святой Садай, кроткий Эммануил, священный Тетраграмматон были призваны; Разиель был призван трижды, и присутствие духа наконец проявилось: но триста лет земного процветания, потребованные тем, кто составил заклинание, свелись к тридцати годам, и печальная жертва этого прискорбного договора не имеет достаточно энергичных выражений, чтобы изобразить тоску, которую она почувствовала, приобретя уверенность в столь жестоком обмане.

ВОЛШЕБНЫЕ ДУХИ И МАЗИ.

В истории оккультных наук есть факт, который всегда остается незамеченным и который, несомненно, оказывал столь сильное физическое воздействие на умы адептов, что его часто можно было бы поставить на первое место в большинстве магических и колдовских заклинаний; мы говорим об обычае, распространенном на протяжении всего Средневековья, сопровождать заклинания магическими помазаниями и особенно благовонными курениями: первые увлекали вас в зачарованный мир духов; вторые должны были заставить воздушных гениев спуститься на землю или вызвать из глубины бездны адских демонов. Не нужно быть большим знатоком различных веществ, использовавшихся в качестве благовоний или таинственных курений в Средние века, чтобы понять, что среди некоторых из этих веществ, совершенно инертных или просто безвредных, находилось несколько таких, чье героическое действие производило немедленное смятение, от которого не мог защититься даже самый твердый дух. Белена, в частности, скрывающаяся почти во всех рецептах волшебных мазей, постоянно применялась; белладонна, одна из разновидностей которой носит название травы магов и чье активное начало получило знаменательное название атропина, белладонна, смешанная с безвредными веществами, становилась самым грозным средством, какое только могла использовать магия. Опийные вещества, экстракт конопли, которому современная наука возвратила его восточное название гашиш, были, как доказали искусные врачи, самыми действенными сообщниками уже бредовых умов. (См. Ж. МОРО из Тура, «О гашише и душевном расстройстве, психологические исследования», Париж, 1845, 1 том in-8°.)

В демонографии волшебные благовония связаны с обширной системой энергического сочувствия или отталкивающей антипатии, которые заставляют считать их средствами, чьи свойства следует тщательно изучать и качества которых нужно строго различать. Будучи по сути связаны с влияниями, исходящими от светил, они постоянно поднимаются от земли к небесам, чтобы вновь разлиться по земной вселенной. Агриппа и многие другие демонографы сохранили для нас формулы, освященные магией для возбуждения действия планетной системы; мы ограничимся указанием двух или трех из них и начнем с благовоний, которые древний обычай посвящал солнцу. Шафран, амбра, мускус, бальзамовое дерево, плоды лавра, гвоздика, мирра и ладан, тщательно смешанные, составляли благовоние, сообразное со всеми великолепиями дневного светила, и крайне вероятно, что шафран входил в этот состав лишь благодаря символу, извлекаемому из его цвета: так утверждают демонографы. Тем не менее, эта смесь приятных запахов оказывала все свое действие на солнце лишь заимствуя магическое влияние, исходящее из мозга орла или даже из крови белого петуха. Благовония, которые посвящались более ограниченному влиянию луны, также были менее разнообразны. Семя белого мака, ладан, камфора имели в качестве сосуда голову лягушки, глаза быка, кровь гуся и, что еще более странно, кровь женщины, взятую в определенный период. Спешим сказать, что некоторые из этих планетарных благовоний требовали веществ, которые сегодня невозможно отыскать и которые даже в Средние века не могли быть точно определены. Так, Марсу угодны были сок молочая, запах нашатыря, экстракт двух чемериц, которые, смешанные с магнитом и

легкой дозой серы, соединялись с мозгом ворона, кровью человека или кровью черной кошки; но сразу после сока молочая рецепт указывает на бделлий, и никогда авторы эпохи Возрождения не могли четко объяснить, что это было за таинственное вещество, изначально рожденное в Саду вечной сладострастия.

Земные благовония, чье действие определено совсем иначе и чьи результаты гораздо более непосредственны, представляют собой вещества, чью каббалистическую природу трудно распознать: всегда составленные под влиянием звезд, они привлекают демонов или же должны служить для их изгнания; они часто вносят смятение в стихии и вызывают ужасные бури. Вы услышите гром и прольется ливень, если вы знаете, как вовремя использовать печень хамелеона, сожженную на концах. Темпестарии, особая категория магов, принадлежащих в основном к более поздним векам, использовали в своих заклинаниях, несомненно, аналогичные средства.

Земля поднимется и будет трястись по вашему желанию, когда вы вовремя бросите несколько лопат земли в дом, где сожгли желчь каракатицы, смешанную с чабрецом, розами и древесиной алоэ. Если ограничиться окроплением этой смеси морской водой или кровью, жилище наполнится кровавой росой, его омоют горькие волны. Хотите заставить сбежаться на землю бесчисленных демонов, являющихся бичом человечества, смешайте кориандр, петрушку, белладонну с болиголовом. Странные привидения присоединятся к этим порочным духам, если вы составите благовоние из корня тростника, сока болиголова, листьев ферулы, белладонны, тиса, мальвы обыкновенной, красного сандала и черного мака. Конечно, в этом странном рецепте нет недостатка в разнообразии, и можно предположить, что сгущенный сок черного мака произвел не одну иллюзию.

Но горе тому, кто не сумел разгадать великие законы сочувствия и антипатии; они царят над благовониями так же, как управляют небесными телами: одного лишь нарушения этих законов достаточно, чтобы рассеялось самое серьезно обдуманное заклинание. Знайте же, что древесина алоэ и сера по сути противоположны в своих испарениях, и то же самое относится ко множеству других веществ, которые будут изучены с религиозной тщательностью, говорят книги Средневековья, если вы не хотите стать жертвой собственных заклинаний.

ЛЮБОВНЫЕ НАПИТКИ.

Справедливо говорили, что Средневековье было царством традиционных идей, доведенных до крайности; но если и было время, когда древность страстно изучали, чтобы добыть из нее великую тайну, вечное желание человечества, тайну, которая принуждает симпатии и заставляет самые противоположные натуры объединяться в единой мысли, сливаться в единой любви, то это, несомненно, было то самое время. Природоведы были перерыты, историков допрашивали с неким упорством, которого не проявляли к серьезным вещам, даже поэты превратились в некие оракулы, которые часто считались непогрешимыми, и любовные напитки так размножились, что времена рыцарства ни в чем не уступали в этом отношении временам греков и римлян. Среди этих почти безотказных средств воздействия на самую независимую страсть с самого начала считали, и как самое могущественное, гиппоман, любовный напиток по преимуществу древности. Этот мясистый нарост, который находится на голове жеребят при их рождении и который мать, как говорят, имеет обыкновение поедать, разделился на три вида, для которых мы отсылаем к ученым диссертациям Виера и Дельрио. В шестнадцатом веке, как и во времена древности, гиппоман также собирали в момент, когда кобыла издавала свои любовные ржания. Вергилий, Тибулл, Овидий стали докторами этой магической науки, чьи древние практики обновляли, часто сочетая их с самыми почитаемыми таинствами христианства. Если имели, как в древние времена, ипсуллиры или субсиллии, о которых говорит Фест и которые состояли из восковых фигурок, над которыми осуществляли некое колдовство; если использовали камень астерит или дротик, извлеченный из тела врага, то прибегали также к

гостиям освященным или неосвященным, отмеченным кровавыми буквами, и правоверные христиане были особенно напуганы подобным святотатством. В самом деле, когда в Средние века хотели предать душу мирную всем яростям страсти, то часто прибегали к помощи, безбожной помощи, от самого священного жертвоприношения. Заказывали до пяти месс на одной и той же гостии, и божественный хлеб становился тогда неотразимым любовным напитком. Тьер, знаменитый доктор богословия, с ужасом восстает против такого суеверия и сообщает нам, что мессы, отслуженные таким образом, достигали неопределенного числа. Чтобы подействовать, гостию нужно было превратить в неосязаемый порошок и дать в каком-либо питье. Истолченный магнит также примешивали к любовным напиткам. Знаменитый Грилландус, который, кажется, исчерпал все, что было написано на эту тему, уверяет нас, что один из самых могущественных любовных напитков делался из обрезков ногтей. Он обнаружил несколько, которые состояли из кишок животных, перьев птиц, рыбьей чешуи. Тогда, как это случается и сегодня в некоторых отдаленных деревнях, волчий хвост пользовался большой известностью; его считали более действенным, чем связки из листьев или трав, освященных древними суевериями. Вербена, чьи оккультные добродетели восходят к временам друидов, играла большую роль в этих оккультных практиках; но, пожалуй, самым могущественным любовным напитком Средневековья был добытый из мандрагоры. Среди древних авторов, Теофраст был первым, кто указал нам на добродетели этого чудесного растения. Но мандрагора греческого врача была утрачена; учитель Данте, Брунетто Латини, вновь обрел ее или, вернее сказать, говорит о ней в своей книге «Сокровищница». Он сообщает нам, как слоны идут искать ее на пути к земному Раю, во время своих любовных утех. Мандрагора в магии – это, как известно, корень, принимающий форму человеческого тела. Это странное растение, чей рост активизируется демоном, внушало неодолимую любовь; но нужно было особенно внимательно смотреть, во что вкладывали доверие, и не брать взамен настоящих какую-нибудь из тех фальшивых мандрагор, которые искусная рука умела так хорошо изготавливать, особенно во времена Возрождения. Это знаменитое растение сегодня классифицируется в научных номенклатурах среди пасленовых. Мы воздержимся здесь говорить, какова была природа множества других любовных напитков, и умолчим, ради целомудренных ушей, о приготовлениях, которые они требовали. Мы полностью разделяем, в этом пункте, мнение знаменитого демонолога: эти любовные напитки большей частью сильно вредили и духу и телу.

ТАЛИСМАНЫ, АБРАКСАСЫ, ФИЛАКТЕРИИ, ЛИГАТУРЫ И Т.Д.

Талисманы, чье использование было столь частым в Средние века и особенно в эпоху Возрождения, по-видимому, имели преимущественно восточное происхождение и были осуждены с самого начала Церковью. Эти столь разнообразные абраксасы, происходившие от гностиков и чье истинное символическое значение было неизвестно, были, благодаря разнообразию своих фигур, самыми востребованными и производившими самое живое впечатление на воображение. Талисманы, или собственно муталсаны, происходили непосредственно от арабов. Чтобы обладать всеми требуемыми качествами, они должны были быть выгравированы на камнях или на металлах сочувствия, соответствующих определенным созвездиям; в последнем случае они имели подлинную корреляцию с судебной астрологией, и это настолько верно, что в специальных трактатах настоятельно рекомендуют тому, кто занят гравировкой талисманических фигур, не позволять себе отвлекаться никакой посторонней мыслью и всегда держать в уме, каково действительно благоприятное расположение неба для таинственной работы, которую он предпринимает; в этом отношении созвездные кольца по сути относятся к классу талисманов. Нам было бы тем более легко умножить здесь описание гностических, христианских или арабских талисманов, что многочисленные труды, во главе которых следует поставить «Трактат о неслыханных диковинах» Гаффареля, были опубликованы на эту тему около двух веков назад. Чтобы читатель тем не менее не остался совершенно чуждым изготовлению

обычных талисманов, какими их носили в эпоху Возрождения, мы приведем здесь тот, что может легко даровать почести, величие и достоинства. Эта формула извлечена из «Талисманов оправданных»:

«Заставьте выгравировать изображение Юпитера, который есть человек с головой барана, на олове и серебре, или на белом камне, в день и час Юпитера, когда он в своем доме, как в Стрельце или в Рыбах, или в своей экзальтации, как в Раке, и пусть он будет свободен от всех препятствий, главным образом от дурных взглядов Сатурна или Марса: пусть он будет быстрым и не сожженным солнцем, одним словом, пусть он будет удачлив во всем. Носите этот образ на себе, будучи сделанным, как сказано выше, и при всех вышеуказанных условиях, и вы увидите то, что превосходит ваше чаяние».

После крестовых походов и по мере умножения связей с Востоком, арабские талисманы и связанные с ними верования получили более частое хождение в Европе. У азиатских народов сама природа вещества, на котором должны были гравироваться талисманические фигуры, имела наибольшее влияние и даже сама по себе составляла талисман. Чтобы привести лишь один пример, изумруд на Востоке считался изгоняющим Сатану, джиннов и низших демонов. За неимением изображений, одни лишь восточные письмена в их разнообразных переплетениях были достаточны, чтобы поражать воображение; они некогда пользовались заметным предпочтением, которое, можно сказать, сохранилось до наших времен, и, в случае необходимости, ученый трактат г-на Рейно мог бы послужить доказательством того, что в этом отношении семнадцатый век едва ли опережал двенадцатый. (См. «Арабские, персидские и турецкие памятники из кабинета г-на герцога де Блака»; Париж, 1828, 2 тома in-8°.)

Если и есть таинственная формула, рожденная, можно сказать, вместе с современной магией и прошедшая через все Средневековье, чтобы дойти до нас, сохранив свою целостность, то это, вне всякого сомнения, мистическое абракадабра, чье треугольное расположение неизменно воспроизводят все книги по демонологии и которое остается в памяти даже самых неграмотных людей. Абракадабры гностиков, на нескольких из которых замечают эту формулу, изначально составляли род символизма, известного только посвященным. Вырезанные на камне, выгравированные на бронзе, эти талисманические фигуры ходили в течение Средневековья, но утратили свое подлинное значение. Предание сделало из них тогда магические отпечатки, способные производить величайшие чудеса, и абракадабры первых веков Церкви часто рассматривались в Средние века как некий род монеты дьявола, чью стоимость раскрывал и объяснить мог только он один.

Автор истории гностицизма говорит об этом прямо: «Это практики и народные суеверия, которые знакомят нас с этими камнями; это не великие теории гностицизма». Тем не менее, невозможно не предполагать у них более возвышенного происхождения, и, если слово «абракада» означает священное слово, как есть все основания полагать, нужно предположить, что эти таинственные украшения изначально рекомендовались главами сект; что достоверно, так это то, что их рассматривали как средство получить защиту гениев. Абракадабры василидиан несли, среди прочих эмблем, козла, и это изображение ненавистного животного должно было заставить считать эти камни столькими же талисманами, происходящими из осужденного источника. (ЖАК МАТТЕР, «История гностицизма», 2 тома in-8°.)

После талисманов, которые заклинают демонов или служат для призыва их милости в сугубо символической форме, следуют филактерии, которые предохраняют от заклинаний или злокозненных чар Сатаны; Средневековье насчитывало их великое множество, которые иногда довольно трудно отличить от собственно талисманов. Тем не менее, обычно используемые филактерии состояли из полосок девственного пергамента и иногда драгоценных тканей, на которых рисовали или даже вышивали различные знаки. Эти повязки, обозначаемые у евреев под названием тефилин, должны были обвязывать либо голову, либо левую руку. Парацельс — один из самых ревностных сторонников этого рода заклинаний, и некогда превозносили два

знаменитых шестиугольника, которым он дал свое имя; на одном он писал Адонай, на другом – Йегова: эти два священных знака, соединенные, уничтожали всякую болезнь, происходящую от магических чар.

Лигатуры, патентные грамоты, записки, которые вешают на шею и чье бесконечное разнообразие обескуражило бы терпение самого опытного демонолога, по сути относятся к классу филактерий. Гемаксы же, напротив, – это некие талисманы, получившие предохранительный отпечаток от самой природы, и нет среди наших читателей никого, кто не вспомнил бы некоторые из этих любопытных камней, которые кажутся произведением искусства, не подозревая, что некогда придавали суеверную мысль обладанию ими. Возрождение было необычайно плодотворно на странные изобретения, когда оно завершило наполнение магического арсенала. Именно тогда особенно увидели появление магических зеркал, восхваляемых в мнимой «Ключи Соломона» и чье таинственное устройство Корнелий Агриппа хвастался, что похитил из писаний Пифагора; пентальфа, плащаница, рука славы, столь пригодная для открытия скрытых сокровищ; магические склянки, содержащие кровь летучей мыши и кровь совы, и, наконец, множество письменных заклинаний, отмеченных в «Биче демонов». Но среди этого наступательного и оборонительного оружия, которое использовала в особенности магия шестнадцатого века, есть одно, заслуживающее более подробного описания и редко фигурирующее в трудах французских демонологов; мы говорим о сорочке нужды.

Эта сорочка нужды была особенно знаменита в Германии, где ее обозначали под названием *Nothemb*. По странному союзу идей, она была одинаково полезна женщине, застигнутой родовыми муками, и солдату, готовящемуся встретить опасности битвы. Молодая дева должна была спрясть лен, из которого делали полотно для ее ткань; вся работа должна была быть выполнена ею под призывом дьявола, и нужно было, чтобы сорочка была сшита в одну из ночей рождественской недели. К ней пришивали две таинственные головы на месте, покрывающем грудь: та, что с правой стороны, в морионе, носила длинную бороду; другая, предназначенная защищать сердце, имела адскую корону, во всем подобную той, что венчает главу Вельзевула и которая всегда, как известно, ужасна на вид; крест должен был быть пришит с каждой стороны этих двух голов. Достойный Жан Виер видел около 1563 года сорочку нужды, которая уже восходила к довольно отдаленной эпохе; дворянин, владевший ею, получил ее от своего дяди, брагарда-жандарма, который имел обыкновение укрепляться ею и возлагал на нее великое доверие, как то делают несколько императоров и других великих сеньоров. («Пять книг о надувательстве и обмане дьяволов: о чарах и колдовстве и т.д.»; Париж, 1559, in-8°.)

Амулеты, более распространенные на Востоке, чем в Европе, тем не менее фигурировали в арсенале магов Средневековья. Существенно отличаясь от талисманов, составленных из твердых материалов, эти виды филактерий готовились с куском ткани или же с образом, освященным прикосновением некоторых реликвий; делали также такие, что извлекали свои добродетели из определенных таинственных слов. Амулеты так размножились в течение шестнадцатого века, что Констанцский собор строго высказался об их употреблении и даже пригрозил смертной казнью тем, кто упорствовал бы в подобном суеверии.

В силу странных верований, объектом которых они были, амулеты, таинственные противоядия, безотказные предохранительные средства относились, как мы сказали, к классу филактерий; но само это родовое слово, означающее хранитель, едва ли использовалось ранее эпохи Возрождения. Среди губительных страхов, внушаемых таинственными практиками магии, дух, всегда настороженный, мечтал лишь о могущественных предохранительных средствах, тайных формулах, способных отвратить зло, если не всегда его заклясть. Главным делом в Средние века было скорее предохраниться, чем приобрести право называться угнетателем посредством грозной власти, устанавливающей к тому же абсолютный разрыв между вами и Церковью. Бедой того времени было считать себя непрестанно подверженным тайным влияниям, которые достигали вас в самых заветных ваших желаниях, чтобы их парализовать, или которые,

нападая на источники жизни, медленно вели вас к могиле. Более чем через век после интересующей нас эпохи ученый священнослужитель пытался целомудренно объяснить, как следует поступать против проклятых магов, препятствовавших исполнению поистине божественного закона, без которого человечество не продолжалось бы.

УЗЛЫ НА ШНУРКАХ.

Злокозненное колдовство, которое мы только что обозначили, было известно всему Средневековью; оно даже играло не раз важную роль в тайных политических интригах, когда оно поражало, как говорили, какого-нибудь властителя или суверенного принца; но его тайная мощь так возросла в шестнадцатом веке, что оно стало одной из тайных язв эпохи и, наводя ужас на самые пылкие воображения, придало некую реальность внушаемым им ужасам. Тогда, по хорошо известному физиологическому закону, околдованный становился первым соучастником того, кто одной лишь угрозой осуществлял свою мнимую власть. Когда они затрагивают эту щекотливую точку, демонологи эпохи Возрождения не колеблясь утверждают это. У Асмодея нет в его арсенале отравленной стрелы более губительной, чем та, что поражает таким образом сокровенные источники жизни: «Ныне нет колдовства более обычного или частого, чем это», – восклицает Дельрио, писавший в 1598 году; так что едва ли осмелились бы в некоторых местах жениться при свете дня из страха, как бы какие-нибудь колдуны не зачаровали новобрачных; что они делают, произнося несколько слов... и завязывая между тем какой-нибудь шнурок, которым, как они полагают, связывают сочетающихся на такой срок, какой им угоден.

«Что они имеют эту власть... доказывается как авторитетом канонов и общим мнением теологов, так и практикой Церкви, которая имеет обычай, после тщетного испытания в три года и присяги семи свидетелей, подписанной их рукой, разлучать тех, кто так околдован». («Споры и магические изыскания» Мартина дель Рио, с. 414.) Боге столь же недвусмысленен и даже говорит, что в его время дети практиковали это гнусное волшебство.

Нас, без сомнения, не попросят следовать в этом щекотливом предмете за ученым священнослужителем, чье свидетельство мы призывали; достаточно будет сказать, что насчитывали, в шестнадцатом веке, более пятидесяти видов формул, годных затянуть узел на шнурке. Мы напомним, однако, что если самый привычный способ состоял в связывании косы или какой-либо ленты при произнесении определенных слов, то именно дьявол завершал колдовство. Оба пола были в равной степени ему подвержены; но было то, что доктора называли уважительным колдовством, то есть временное препятствие, относящееся к определенным обстоятельствам или определенным лицам. Именно этим особым колдовством был поражен король Теодорих. Впрочем, несколько прелестных страниц Монтеня скажут обо всем этом больше, чем толстая книга Бодена, и, если любопытно обнаружить в ученых трактатах того времени противоядие от рокового колдовства, что навел колдун, его предоставит Плани-Кампъ, столь хорошо знавший две прекрасные колонны, воздвигнутые Адамом, чтобы сохранить для своего потомства научные традиции, почерпнутые им из божественных источников. Давид Плани-Кампъ, чьи медицинские изыскания восходили к шестнадцатому веку, не колеблясь, обращается за этим к ученым, помешанным на древности: «Неужели это Аполлон, – восклицает он, – дал птице, называемой дятел, будучи сваренной и съеденной, добродетель и свойство помогать колдовствам и охлаждениям?» Еще более простые, но не столь целомудренные в выражении средства встречаются у всех демологов. Есть и совершенно безвредные, такие как молодило, использование подковы; но мы отсылаем любопытного читателя к малоизвестному труду, к этому «Бичу колдунов» Жерома Менго, содержащему самый полный арсенал, какой когда-либо противопоставляли практикам магов. Действительно, в этой книге найдут прекрасную главу под названием: «Средство для тех, кто препятствуем в браке»; и седьмое заклинание ознакомит с грозными заговорами, которые использовали, чтобы отвратить колдовство, признанное поистине дьявольским достойным венецианским монахом. (См. «Бич демонов, ужас-

ные, могущественные и действенные заклинания, а также наииспытаннейшие средства и особое учение об изгнании злых духов и т.д.», Венеция, 1597, 1 том in-16.)

Заклинания, указанные в этом руководстве экзорцистов, без всякого сомнения, утомили бы терпение читателя. Мы обратимся к другим источникам, чтобы изложить самые странные и особенно самые грозные колдовства Средневековья; то, что первым приходит на память, имеет историческую известность, дающую ему первенство.

НАВОДИТЬ ПОРЧУ (ВУДУ).

Одно из самых употреблявшихся злокозненных колдовств в тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом веках, то, которого особенно страшилась власть имущие, наведение порчи, одним словом, по-видимому, имело свое первоначальное происхождение у народов древности; Овидий описывает его вполне ясными терминами, и его следы находят среди некоторых варварских народов Нового Света. Старые путешественники, пересекавшие Северную Америку, отмечают его в частности как применявшееся среди дикарей Канады с церемониями, вполне аналогичными тем, что обновлялись среди нас в Средние века и в эпоху Возрождения. Его практиковали с намерением медленно умертвить высокопоставленное лицо, которого боялись и чье положение защищало его от убийства или обычного колдовства. Первая операция состояла в том, чтобы отлить восковое изображение по подобию того, кого хотели погубить; затем ему навязывали имя тайного врага, и потом добывали сердце ласточки, которое нужно было поместить под правую подмышку подобия, тогда как печень птицы прикрепляли под левой подмышкой. Иногда колдун, исполнитель колдовства, подвешивал к своей шее изображение, позаботившись использовать нить, никогда ранее не служившую. Тогда начиналась святотатственная операция, от которой ожидали столь гнусного результата, то есть протыкали иглой, никогда не бывшей в употреблении, члены фигурки, произнося различные формулы, которые почти всегда казались слишком ужасными демонологам шестнадцатого века, чтобы они осмелились передать их нам, из страха приобщиться к проклятию, влекущему за собой такие практики. Именно об этом роде наведения порчи шла речь на процессе Мариньи. Перед судьями вывели колдуна, который испещрил такими таинственными уколами статую Людовика Сварливого. Иногда изображение было из бронзы; ему придавали странное уродство, выворачивая члены: помещая, например, голову так, чтобы она походила на голову Януса, и руки в таком расположении, которое позволяло привязать к ним ноги. Таинственное имя было начертано над головой; затем на боках переписывали эту варварскую формулу, начинающуюся с первой буквы арабского алфавита: «Алиф Ласиль Зазахит мель Меллаль Леватан Леутас». По завершении всех этих заклинаний, бронзовую статую помещали в гробницу, и ожидали, без сомнения, от времени медленного, но безошибочного действия ужасного колдовства. Виер говорит о третьем виде наведения порчи, более сложном, чем те, чьи странные приготовления мы только что указали: здесь наука астролога приходила на помощь колдуну. Под влиянием Марса готовили две статуи, одну из воска, другую из земли, но земли, собранной вокруг умершего, сама человеческая зола будучи предпочтительней; и, когда эти две фигуры были установлены, помещали железо, уже служившее какой-нибудь смертной казни, в руку одного из созвездных изображений так, чтобы зачарованное оружие пронзало голову изображения, представляющего того персонажа, чью медленную агонию таким образом готовили. Таинственные знаки, начертанные на двух статуях, должны были ускорить кончину жертвы. Колдовство, каким оно обычно практиковалось, требовало, однако, не столь сложных церемоний. Восковое изображение человека, которого предавали смерти, подвергали воздействию огня, чье пламя старались умерять, и оно медленно таяло; смерть наступала с уничтожением изображения. Именно так пытались погубить, по словам демологов, Дуфуса, короля Шотландии (968 год), и, что еще страннее, колдуны находились тогда в Моравии. Если верить некоторым писателям шестнадцатого века, ужасная болезнь Карла IX не имела бы другой причины; но, вне всякого сомне-

ния, самым знаменитым процессом, где фигурирует наведение порчи, является тот, что был возбужден против герцогини Глостерской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.